

Алексей Лосев

ЖИЗНЬ

I

Люди часто с любовью вспоминают свое детство. Я тоже вспоминаю его с любовью. Я был окружен заботой и лаской матери. Безоблачное, счастливое детство было и остается какой-то золотой мечтой, каким-то несбыточным раем. Но вот был Мишка, мальчишка-сосед, мой товарищ по играм и ранней учебе, мой сверстник. Ничего был ребенок, да вот только имел одну странную привычку, я бы сказал даже, страсть. Бывало, как заведется у них в доме щенок или котенок, то его любимым занятием было выдергивать волоски у этих животных и ломать им лапки. Ломать — не в шутку, а всерьез. Бедные животные пищали и выли на весь двор и оставались калеками.

— Мишка, сволочь, — говорил я ему. — Как тебе, дураку, не стыдно? Опять котенка замучил!

— Да это я... так...

— Дурак!

— А не твое дело.

— Я вот матери твоей скажу.

— А я ей еще раньше твоего скажу.

Счастливое, ласковое, мягкое, безоблачное детство, да только вот этот проклятый Мишка.

Однажды в Мишкином доме сука оценилась целыми восемью детенышами. Мишка ликовал. Он не замучивал щенят, пока те были слепые, спали один на другом в одной мягкой и теплой куче.

— Рано еще! — говорил Мишка. — Пусть подрастут.

Он предвкушал свое счастье и был на редкость терпелив.

Скоро щенята подросли.

Мишка уже покалечил трех щенят, но на четвертом произошел инцидент.

Однажды после непродолжительной игры в мяч Мишка вдруг сказал:

— Надоело играть. Подожди. Давай отдохнем. Я согласился.

— Сегодня у меня на очереди Сток, — прибавил он с некоторой нежностью в голосе. А Сток была милая собачка, подросшая уже настолько, что ей решили дать кличку. Все же это был пока еще по своей комплекции какой-то цыпленок, и Мишка с такими справлялся без всякого труда.

Я решил взмолиться.

— Мишенька... Знаешь что? — залепетал я. — Хочешь, конфет дам... Хочешь? А?

Мишка сначала ничего не понимал.

— Мишенька, родненький... Не ломай лапок у Стока...

— Ишь ты куда гнешь. А что тебе Сток?

— Мишенька, голубчик... Продай мне Стока...

— Хе-хе! Целоваться, что ли, хочешь с Стоком?

— Мишенька, я тебе всю коробочку отдам с конфетами. А у меня недавно был день рождения, и от подарка осталась целая коробка конфет.

— Собака моя? — наставительно ответил Мишка. — Моя! Я хозяин Стока? Я! Ну так чего ж!

— Мишенька, возьми конфеты, — продолжал я сквозь слезы. Но на душе у меня уже закипал гнев, уже что-то начинало трясти мой детский организм, и я терял власть над собой. — Мишка, голубчик, золотко, не мучь Стока... Продай Стока. Давай меняться на конфеты.

Мишка уже перестал меня слушать. Я понял, что мысль об искалечении Стока пришла ему в голову еще во время игры и он не закончил даже игры, чтобы приступить к любимому делу. Он уже направился к собачнику, где было несколько щенят. Но тут я заметил в его руках вдруг откуда-то взявшиеся клещи. Я до сих пор не знаю, зачем он их взял. Сток был еще хилой, цыплячьего вида собачкой, и...никаких специальных инструментов еще не требовалось.

Я побежал за Мишкой к собачнику.

— Не смей! — закричал я, вдруг не сдержавши себя и вдруг обратившись от упрасиваний и умолений к гневу и к кулакам.

— Не смей, мерзавец! Отойди! Отойди, говорю, от собачника!

Мишка сначала оторопел, потому что я схватил его за обе руки. Клещи выпали из его рук на землю.

— Убью, мерзавец! Слышишь, что говорю? — кричал я, трясясь всем телом. — Убью! Не смей! Не дам мучить Стока! Уйди, пока живой. Сволочь ты! Мерзавец!

Мишка был сильнее меня. Оторопевши в первую минуту, он тут же пришел в себя, тряхнул с силой руками и освободился от меня.

— Ага! — зашипел он. — Чужого добра захотел?... Я тебя проучу. Я тебе покажу, что такое Сток...

У собачника началась драка. Мишка был сильнее меня, но я не сдавался. Мы начали тузить друг друга по рукам, по спине, по бокам, по лицу. У кого-то уже появилась кровь, и у меня начинало мутиться в голове. На наши крики пришли Мишкины родители, которые и разняли нас. Но результат всего инцидента был совсем не тот, которого я ожидал. Оказывается, Мишкины родители, вступившие в переговоры по этому поводу с моими родителями, заняли всецело позицию Мишки со всеми этими аргументами о «чужом добре», о том, что-де «не ваше дело», и даже говорилось так:

— В наше время так мало радости... У детей так мало развлечений...

Словом, я был побежден и физически, и психологически. Я не мог поколотить Мишку, а мои родители не могли переубедить его родителей. Так и остался этот инцидент на всю жизнь как несваренный кусок в желудке. И я еще до сих пор не знаю,

куда мне его деть.

Счастливая, ласковая, нежная, милая, безоблачная пора раннего детства... да только вот если бы не этот Мишка проклятый... Еще и до сих пор слышу этот жалкий визг щенят, которые оставались калеками на всю жизнь и которые уже не могли бегать или ходить, а как-то мучительно ползали на сломанных лапах, доставляя себе боль при каждом малейшем движении. Этот визг стоит у меня в душе целую жизнь; и еще не было у меня такой радости и такого счастья, чтобы я смог целиком его забыть или чем-то заставить молчать. Когда я слышу на улице собачий стон или вой, вся эта картина Мишкиных занятий возникает у меня в сознании, как будто бы это было только вчера; и тело у меня начинает трястись от гнева, ужаса, тоски, отчаяния, бессилия и возмущения так же, как тогда у собачника.

* * *

Последующая жизнь не стерла этих счастливых, ласковых, нежных и прочих воспоминаний о детстве. Нет! Мишка рос и ширился у меня в душе. Не надо примеров из моей жизни. Их, к сожалению, было слишком много. Гораздо хуже то, что узнал я из науки, будучи на школьной скамье.

* * *

Мучительны, давящи были у меня размышления о жизни. Я думал:

— Как же так? В природе все так стройно и красиво, все так закономерно и целесообразно. Что же такое человеческая жизнь? Когда на уроках космографии учитель о предсказании затмений говорит в физическом кабинете, как вычислили на доске момент падения тела в машине Атвуда, так оно в ту же секунду и упало, — до того все это четко и стройно, до того все точно и целесообразно. А что же такое человеческая жизнь? Зачем живет Мишка? Разве нельзя без него? Зачем эти Мишки отравляют весь воздух, которым дышит человечество? Зачем память о нем навязалась мне на целую жизнь и испортила, омрачила всю эту жизнь? Зачем люди проливают кровь, уничтожают один другого, наслаждаются страданиями других людей, неистовствуют, бешенствуют, зверствуют? Зачем существуют звери? Может ли человек при этих условиях оставаться спокойным? Можно ли улыбаться после этого, можно ли получать радость от солнца и тепла, от ласки и дружбы, от удачи и достатка? Не есть ли жизнь та пещера Трофония в Древней Греции, куда люди заглядывали и, если заглядывали, то теряли на всю жизнь возможность смеяться и улыбаться? Не лучше ли жизни смерть? Не лучше ли, не мудрее ли кончить эту трагикомедию раз навсегда, чтобы уже не смеяться и не плакать, не петь и не играть, но зато и не убиваться, не терзаться, чтобы вместе с поэтом сказать о себе:

Тише! О жизни покончен вопрос.

Больше не надо ни песен, ни слез?

Так часто размышлял я в своем уединении, разыскивая тайну человеческой жизни.

Я шел к тем, кого считал умным и знающим, и спрашивал их. Мало я получал

удовлетворения от этого.

Школьником я не раз приставал к своему учителю биологии, ища разъяснения мучительной загадки жизни.

— Да ведь это очень просто, — говорил он, щеголевато покручивая свои усы. — Чего ты убиваешься? Не понимаю. Ну, кошка съела мышонка. Велика важность! Ну и съела. Ну так что же? Ты ведь говядину ел? Ел. Ну, так что ж ты бубнишь? Есть хочется, и — баста. Естество такое. Ведь кошка есть хотела? Хотела. Ну так чего ж! Не подыхать же ей! Жизнь — это инстинкт. Мудрость такая природная. Если хочешь жить, борись. Ну, я не говорю там, конечно, чтобы ты... того... сам, что ли, убивал... Зачем же? Ну а все-таки... На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Я возмутился.

— Иван Петрович, — горячился я, — невозможно! Вы говорите, что все это естественно?

— Ну конечно, естественно. От природы так дано, — отвечал Иван Петрович.

— Иван Петрович, — горячился я, — хочется послать к черту эту вашу природу.

— Ну что ж! И пошли. Да толк-то какой? Или ты думаешь, что от твоей чертовщины что-то изменится?

— А у вас какой толк? Вы смотрите на кровь, на убийство, на жесткость, на все кровавые сладострастия жизни, и — что же? Посматриваете и усики себе покручиваете.

— Чудак ты человек, — добродушничал тот. — А что же остается делать? Ведь если бы оно было противоестественно, это можно было бы устранить. Да оно и само долго не продержалось бы. А ведь раз оно естественно, то как же ты против естества пойдешь?

— Пойду!

— Против природы?

— Против природы!

— Да ведь это бунт против жизни!

— Это бунт против холуйства перед жизнью. Довольно вы нас учили идолопоклонствовать перед жизнью. Жизнь — это болото, невылазная лужа. Не во всяком же болоте мне тонуть. Подумаешь, «жизнь»! Кулаком в морду вашей жизни! Пусть замолчит, сократится, пусть знает свое место, пусть перестанет нахальничать, издеваться, глумиться над всем святым. Пусть попридержит кровь и не пожирает живого тела. Пусть будет поскромнее. Пусть будет шире, выше, благороднее, спокойнее, мудрее, человечнее, наконец!

— Хо-хо-хо-хо! — от души хохотал Иван Петрович. — Ну и сказанул! Ну и дербалызнул! Уморил! Ей-богу, уморил. И какое эдакое благородство. Я-де (вот что. Ты-де мне не тычь, я не Иван Кузьмич. Я-де вам еще покажу. И-о-го-го-го! Я-де вам еще пропишу ижицу. А? Хорош! Ей-богу, уморил.

— Вы, Иван Петрович, не увиливайте от вопроса, — горячился я. — Вы мне прямо скажите: все естественное позволено или не все? Нет, вы напрямки. Ведь это же мой единственный вопрос.

— Да чудачишка ты этакий! — отвечал тот, сдерживая искренний смех. — Ведь это же наука. Это наука так говорит.

— Что говорит наука? Я вас не понимаю.

— Наука так говорит, понял?

— Ничего не понял. Что наука говорит?

— Ну ты непонятливый! Наука выставила закон борьбы за существование.

— Ну и?

— Ну и вот. Борьба есть закон жизни.

— Я вас спрашиваю: все позволено или не все позволено, что ваша наука считает естественным?

— Да раз наука считает это естественным, как же это не позволено?

— Убивать естественно?

— Если убийство тебя спасает от смерти — естественно.

— А умирать естественно?

— Естественно.

— Так чего же вам спастись от смерти?

— Спастись от смерти естественно.

— Ага, значит, и жить вам естественно, и умирать вам естественно.

— Разумеется.

— Ну а при чем тут убийство?

— Да что ты привязался к убийству? Если убийство способствует спасению естественной жизни, оно позволено. И если оно способствует естественной смерти, оно тоже позволено.

— Ну тогда, Иван Петрович, так вы и говорите: все естественное позволено. Все ваше поведение диктуется естественным — природой там или еще чем, инстинктами, животной утробой. Вот и все. Больше мне ничего не надо.

— Но ты как будто чем-то недоволен.

— Я не недоволен, а меня всего трясет от негодования, — кипятился я. — До чего же может дойти наука! До какого безумия, до какого позора можно дойти с вашей биологией! До какого издевательства, глумления над человеком можно дойти! Мне захотелось насиловать женщину — вы при этом спрашиваете только то, естественно ли это. Я увидел у другого вкусный кусок — вы при этом озабочены только одним вопросом: естественно ли человеку есть вкусные вещи? Я избил свою кухарку за то, что она переплатила лишний рубль на базаре, и-вы уже разрешаете это, на том основании, что человеку естественно бережливо относиться к средствам, которые заработаны собственным трудом. Но ведь для иной женщины естественно и уклониться от мужчины, а кухарке естественно зажить себе лишний рубль, опять-таки все для того же, чтобы удовлетворить ваше «естество», вашу «природу». Что же это получается? Война всех против всех? Наука проповедует первобытное звериное царство? Биология оправдывает первобытную дикость, первобытное варварство? Для зверства, для дикости, для варварства, для всех этих инстинктов, естественных потребностей, для борьбы за существование — нет никакой узды, нет никакого закона,

никакой совести, нет ничего разумного, человеческого, осмысленного? К черту вашу естественность, вашу жизнь и вашу биологию!

Споры с Иваном Петровичем ни к чему не приводили. Я уходил от него без всякого утешения; и только еще одна цитадель беспомощно рушилась передо мною — это отвлеченная наука в ее попытках осмыслить жизнь и, главное, оправдать всю дикость и зверство, которыми эта жизнь наполнена. Естественность зверства, законность дикости, нормальность людоедства меня не устраивали. Да, можно так рассуждать: раз все естественно, все и позволено. Но я чувствовал, что жизнь надо как-то переосмыслить, что жизнь надо переделать, что надо установить какую-то другую естественность, что надо хвалиться какими-то другими нормами. Никакие инстинкты, будь они трижды естественны, ни кошачьи, ни собачьи, как бы они ни были достаточны для объяснения жизни, меня не устраивали. Я смутно чувствовал, хотя тогда еще и не сознавал отчетливо, что жизнь мало объяснить, что ее надо и переделывать. Но что было делать? Куда было идти? С кем было советоваться?

* * *

Я шел в народ, в низы. Я шел к образованным и ученым. Но нигде не находил себе удовлетворения.

Помню, однажды я оказался в деревне. Это было в старое время; и деревня, правда, была далеко не на высоте. Но вот примерно какие разговоры велись.

Живу у приличного крестьянина, работающего и степенного, тогда пока еще маленького кулачка (а что было с ним потом, не знаю).

— Ну и что же, Панкратыч? — заговаривал я. — Так, значит, и помрем, правды не видамши?

— Зачем не видамши? — рассудительно отвечал тот. — Правда есть. И есть, и будет.

— Где же ты нашел правду, Панкратыч?

— Да ну хоша в тебе... Ты ведь ученый? Вот тебе и правда.

Я внутренне улыбнулся, но внешне улыбку сдержал и продолжал в серьезном тоне:

— Брось, Панкратыч, вола вертеть. У тебя вон ребята сарай с сеном подожгли, а ты говоришь «есть и будет». Выходит, что нет и не будет.

— Ребята — дураки. Бог разумом обидел.

— А вот дурость не заставила же их на тебя поработать, да это самое сено покосить, да посвозить, да в сарай для тебя уложить. А то, вишь ты, что заставила дурость делать — сарай поджигать!

— Да ведь ты, сынок, божьим советником хочешь быть. Господня воля на то, вот и все.

— На что это Господня воля? На поджог?

— Ну да. На поджог.

Я пожал плечами.

— Не хочется тебе этого. Я вот и вижу, — почему-то торжествовал Панкратыч, — что тебе этого не хочется. Тебе бы вот все вынь да положь. Правды захотел... А правда-

то ведь у бога! Захочет бог, есть правда; а не захочет — нет никакой правды. И ты лопни, а правды не дашь.

— Да как же это может быть? — возмутился я. — Ведь сам-то бог-то твой — правда или не правда?

— Правда.

— Ну так как же тогда может не быть правды?

— А вот так и нет правды. И грех тебе правду-то эту нудить.

— Грех?

— Грех, грех, сынок.

— Грех правду нудить?

— Грех, грех! Нынче вон Страстная неделя, а ты — турусы всякие разводишь.

Я возмутился:

— А пьянствовать на Страстной неделе — не грех? А шкуру драть с бедняка на Страстной неделе — не грех? А чтобы жену избить до крови (это чья такая воля, тоже Господня? А кобылу с одышкой продать как здоровую — не грех? Ты вон за кобылу взял пятьсот рублей, а ведь она и пятьдесят не стоит. Она ведь на первом плуге подохнет. А баранину тоже небось подкрасил? Я ведь видал, как ты с женой тухлую баранину специями подправлял. Говори, на сколько продал на рынке! А? Как свеженькую? А если отравится человек или трудовую копейку свою на тебя загубит, это, по-твоему, ничего себе? Господня-де воля? Правду, дескать, нельзя нудить. Грех-де, если я тухлятину не спущу за свежее! Э-э-э-х, Панкратыч! Стыдился бы веру-то сюда приплетать. Вера-то тебя самого разоблачает.

Панкратыч слушал меня вяло. И я чувствовал, что если бы я даже кол тесал на голове такого Панкратыча, то и таким способом не добился бы сознания. После таких разговоров кончалось тем, что он спешил либо лошадям сена подкладывать, либо старые вожжи латать, либо забор чинить на огороде. Вот тебе и мудрость вся! «Бог с ними, — думал я себе, — со всеми этими Панкратычами! Не по пути мне с ними». Но с кем же по пути? Я встречал практиков, деятелей, активных работников, людей воли и силы, предпринимателей, организаторов... Нет... Не лежала у меня и к ним душа. Ну что же? Делать, активничать, стремиться, предпринимать, организовывать, — ради чего, ради кого? Делать только потому, что делать хочется, это — глупо. Быть активным только потому, что ты молод и здоров, или потому, что скука заела, или даже потому, что тебе это интересно, или для того, чтобы убить время, или потому, что это — прилично и что все приличные люди что-нибудь делают, — это все пустота, скука, мещанство; и хорошо еще, если это — делячество и темперамент. Но для чего, во имя чего, кому, в чьих интересах, ради какой идеи я должен действовать и работать, стремиться и не отставать от других? Практики мне не давали ответа на эти вопросы.

* * *

Среди моих исканий правды жизни особенно мне запомнились слова одного моего школьного товарища, с которым я случайно встретился после многих лет со времени окончания школы на одной далекой узловой станции. Этот разговор вклинился в мое сознание и, как мне ясно теперь, имел для меня немалое значение. Так как

пересадка длилась долго, и до моего поезда оставалось несколько часов, то мы засели с моим товарищем в вокзальном ресторане, и среди еды и питья просидели все оставшееся время, пока не появилось сообщение о приближении моего поезда.

— Вот ты говоришь «жизнь» да «жизнь», — сказал Юра, приступая к закуске. — Хочешь, я тебе дам научное определение жизни? Научное определение жизни таково: это — канитель.

— Шутник, Юрка! Целый век зубы скалишь!

— Нет, нет, Алеша, я — всерьез, — невозмутимо продолжал тот. — Жизнь есть канитель. Жизнь заключается в том, чтобы не делать сразу того, что требуется сделать сразу. Ну, возьми вот хотя бы животное, ну человека, что ли. Казалось бы, животное и есть животное. Ан вовсе нет. Рождается прежде всего не животное, а какая-то вонючая дрянь. Булавочкой только коснись, и — подохнет. Потом начинает расти. Растет-растет, растет-растет... Ну ладно, пусть бы уж росло. Ан вовсе нет. Растет, потом не растет, болеет, худеет. Потом поправляется, здоровеет, опять растет... Ну, наконец, всеми правдами и неправдами выросло (если только не подохло). Казалось бы, и конец всем злоключениям. Ан вовсе нет. Достигши зрелости, совершенства форм и полноты сил, животное вдруг почему-то начинает стареть. Почему? Нет, Алеша, ты мне скажи: почему оно, сволочь, стареет? Да разве дело в старении? Пусть себе старело, черт с тобой, старей! Ан вовсе нет! Начинается заводилка с болезнями, с ослаблением, с хирением, с отмиранием то одной, то другой функции. Ну ладно, пусть бы болезни там или немощи. Ан вовсе нет! Оказывается, животное дохнет, мрет как муха. Вот ты что мне скажи! Чего оно, сволочь, мрет? Болеешь, ну и болей. Стареешь, ну и ладно. Ан вовсе нет! Оказывается — смерть; опять та же химия, что и до рождения. После всего этого — не канитель ли жизнь, не заводилка ли, не волынка ли? Нет, ей-богу, совершенно точное научное определение жизни, это — волынка!

— Как тебе сказать, Юрий Петрович, — начал было я с раздумием, почесывая себе затылок. — Так-то оно так, конечно... Спору нет...

— Ну так что ж! Конечно, спору нет! — ответил тот.

— Но ведь что-нибудь же должно оставаться?

— От жизни?

— Да, от жизни.

— Ну я ж тебе сказал. Остается химия. Органическая химия. Или, лучше сказать, даже неорганическая химия.

— Это не жизнь... — задумчиво бормотал я, рассматривая горошинку в супе.

— Ну круговорот остается. А круговорот — это и есть волынка.

И не давши мне ни минуты роздыха и ни минуты для размышления и для ответа на его рассуждения, он начал быстро говорить дальше.

— Еще я тебе скажу: жизнь есть сплошная придирка. Вскочил прыщик, и ты чуть-чуть зазевался, не пошел один-два дня к доктору и не принял мер. «Ага! — говорит жизнь. — Ты не принял никаких мер. Ну и подыхай». И человек ни с того ни с сего умирает в несколько дней от заражения крови. Девчонке-студентке понравился молодой человек. Выходит замуж. «Ага-а-а-а! — шипит злая морда жизни. — Замуж

вышла? Любви захотелось? На же тебе, ешь!» И — девчонка бросает учебу, проходят годы, с мужем потом разводится, остается без образования и без заработка, с голодной семьей. Вот тебе и вышла замуж. Помнишь Корзинкина? — Корзинкин был наш товарищ по школе, страстно мечтавший быть горным инженером и погибший впоследствии на медных рудниках. — Ведь славный был парень. И как любил свое дело! Помнишь же, как говорил он еще мальчишкой о горном деле. Ну и что же? Вспомни, как погиб. Самым злостным, самым паршивым способом погиб — при испытании материалов в лаборатории, от взрыва. «Ага-а-а! Медную руду любишь? Лаборатории захотелось? Опыты захотел производить? Ну так вот на ж тебе, жри свою медь на здоровье!» Что это такое? Не придирка? Жизнь, по-твоему, не придирка? Отвечай!

— Мне не очень нравится самый термин, — небойко возражал я.

— «Термин», «термин»! Да при чем тут «термин»? Я тебе дело говорю, а ты — «термин».

И, не давши мне очухаться снова, он продолжал:

— Жизнь, Алеша, еще вот что. Жизнь — это хлестаковщина, сплошное очковтирательство, надувательство, так сказать. Насколько же честнее, добросовестнее, надежнее механизм, чем организм. Механизм что обещает, то и дает. А эта — обещает горы, а на деле — нет ничего. Ты посмотри, какую тьму икры мечет рыба. Да ведь если бы все это уродилось, то в реке можно было бы руками ловить рыбу, сама бы на берег лезла от тесноты в воде. А в результате? А в результате — нет ничего, да и все тут. Какой-то жалкий процентик выживает, а все остальное — пустое место, обман, хлестаковщина. Ребенком бегаешь иной — прямо-таки гений: и всю арифметику знает, и географию тебе наизусть жарит, и в обществе себя ведет отлично. А вырос, смотришь, хулиган хулиганом стал: и пьяница, и забулдыга, и недоучка, и вор, и еще черт знает что. Вот тебе и вундеркинд, вот тебе и гений! Сколько я таких видал! И что же, это, по-твоему, не надувательство, не интрига, не очковтирательство, не хлестаковщина? Кроме того, имей в виду: ведь не этот Иванов или Петров надуватель, который ребенком был гений, а взрослым превратился в жалкого мещанина (этот Иванов или Петров сам этого не хотел и сам же от этого страдает), а надуватель именно сама жизнь, ибо кто же и что же тут виновато?

— Ну насчет механизма ты больно того...

— Да, вот насчет механизма. Категорически, безусловно, с восторгом утверждаю тебе и клянусь: ей-богу, механизм лучше организма. Ты только пойми. Все в нем понятно, ясно, идейно. Особенно мне нравится в механизме какая-то эдакая идейность, ясность, что ли, принципиальность какая-то. Все это как-то здесь на месте. Не нравится тебе в нем что-нибудь, — взял да и изменил. И ты пойми, как красиво: что он есть, то он и дает. Ты пойми, как это благородно, честно, человечно — давать то, что можешь, и не обещать того, чего не можешь. Это действительно как-то морально, нравственно, логично. Без истерики, без надрывов, без биения в грудь, без этого фальшивого актерства — что есть, то есть; что есть, то и фиксируется; обещается то, что реально возможно; и что обещается, то и исполняется. А что такое жизнь? Жизнь — это прежде

всего актерство, обман. Нечто родилось; ан смотришь, подошло. Значит, оно только делает вид, что будет жить. Актерствовало, значит. Но это явно еще и фальшивое актерство. Жизнь немилосердно врет, загибает, заливаает, пользуется нашим незнанием, производит небывалый эффект и сенсацию. А на деле, смотришь, нет ничего, и все тут! Врет-врет, глядит-глядит, невероятную пыль пускает в глаза, задает истерику... Ан смотришь, ровно ничего и не думало происходить по существу... Все, смотришь, то же самое, старенькое, слабенькое, дрянненькое... А шуму-то, гаму-то, крику-то, истерики-то! Ан смотришь, вся рыбка-то и погибла, вся листва-то и засохла, все птенцы-то и передохли, весь труд-то и пропал даром, весь кораблик-то и пошел ко дну. Нет, Алеша, в организме, да и во всей жизни, в самом понятии жизни — какое-то зверство, какая-то бесчеловечность. Механизм — естественнее, человечнее, милостивее, проще, красивее, нравственнее организма и жизни.

— Да ты, Юрка, с ума сошел! — почти закричал я на приятеля. — Ты понимаешь, что говоришь, или ты пьяный? Сказать, что механизм естественнее организма, ведь это же прямо мозги набекрень надо иметь. Сказать, что механизм человечнее организма, ведь это же плевать на истину, значит. Ты пойми! Я прямо своим ушам не верю.

— Постой, постой, Алеша, — заколебался Юрка от напора мыслей, — я тебе еще самого главного не сказал. Жизнь не только безобразнее, зверинее механизма. Самое главное, это то, что жизнь — бездарнее, механичнее. Ты только представь себе. Вот в литературе, да и среди обывателей вошло в обыкновение говорить, что механизм-де — это машина, стандартный продукт. Что дает машина? Она-де вырабатывает массовый, стандартный продукт, лишенный всякой индивидуальности, всякого творческого начала. Вот кустарное-де производство — это я понимаю. Там-де все любовно мастер сам обдумал, свою заветную идею вложил. Ну вот и продукт получился на славу: свой, особенный, индивидуальный, неповторимый. А механизм и машина — что такое? Стандарт, трафарет, шаблон, обезличка. Ну так вот я тебе, Алеша, и скажу...

Тут Юрка от волнения даже встал и начал говорить с большим одушевлением и возбуждением, размахивая руками, так что я начинал уже бояться за посуду на столе. Но через несколько фраз он опять сел и стал говорить спокойнее, но все время с подъемом.

— Да, ну так вот я тебе сейчас и скажу. Стандарт? Шаблон? А жизнь — не стандарт, не шаблон? А рыба, которая из икры лезет миллионом, не стандарт? А комары, жуки, мошки и все прочее необозримое копошение жизни — не стандарт? А люди — я уж не буду брать клопов и вшей, собак или кошек, лошадей или коров, — а люди, думаешь, так уж здорово отличаются друг от друга? Ты думаешь, все эти миллионы или миллиарды людей, живущих и живших в прошлом людей, так уж действительно есть большое разнообразие? Ничего подобного. Едва заметные отличия! Совершенно несущественные отличия! Жизнь тоже вырабатывает штампованный продукт, мало чем отличающийся от стандарта в машинном производстве. Самое большое отличие тут только то, что в этом производстве жизни девяносто девять процентов брака; товарец-то слабенький, паршивенький, вредительский. В этом производстве столько же однообразия и трафаретности, сколько в машинном

производстве. Да нет! Гораздо больше! Конечно, гораздо больше! Там ведь трафаретность законна и естественна. А ведь тут-то она — слабоумие, недомыслие, потуги на производство и бессилие для него. Жизнь хочет забить количеством. Но ведь это же бездарность! Мы в своем производстве боремся не только за количество, но и за качество. А жизнь думает, что если она создала весной миллионы мошек, то это и есть что надо. А ведь миллиарды мошек ничего же не прибавляют принципиально к одной мошке. Это — только бездарная погоня за количеством, зависть к подлинному творчеству, беспрестанное выпрашивание отсрочки мораториев. Жизнь — это сплошное вымогательство отсрочек, бездарное затягивание того, что нужно сделать сразу, насилие над тем, что и является источником собственного существования. Человек бьется-бьется целую жизнь, мучится-мучится, работает-работает, убивается-убивается. А жизнь только путается у него в ногах, только, видите ли, органичности требует. А ведь все это — только пока есть человек самый. Сожрала человека, загубила человека, и — сама тут же подохла, как огонь живет только горючим материалом: нет материала, и — огонь потух, а есть материал, так огонь только и делает, что его пожирает.

— Постой, постой... — взмолился я, ошарашенный Юркиным словоизвержением. — Постой, постой... Что ты тут наговорил?... Я даже не сразу разберусь... Что ты говоришь? А? Ты про жизнь говоришь? Или-как? Что-то я... того...

Я действительно был ошарашен. Мысли, высказанные Юркой, впились в меня иголкой. Я чувствовал, что у меня бьется сердце, как в жарко натопленной бане. Я не мог свести концы с концами; и-не знал, что говорить. Смесь сочувствия и несочувствия, восторга и возмущения от этого словесного потока волновали меня до глубины; и я чувствовал, как начинали у меня прыгать мускулы на лице.

— Я тебе просто говорю, — барабанил Юрка, отчеканивая, по-видимому, давно продуманные мысли. — Я тебе просто говорю: жизнь — это слабоумие.

Я ухватился хотя бы за эту одну мысль и начал возражать, не без труда собирая свои мысли.

— Постой, постой, — залепетал я. — Слабоумие? Это — тигр-то, лев-то, слон-то — слабоумие? Это роза, тюльпан, фиалка — слабоумие? Это Софокл, Гете, Пушкин — слабоумие?

— Да я не об этом... — раздраженно перебил меня Юрка. — При чем тут Пушкин? Ну пусть один Пушкин. Но ведь мошек-то миллиарды. Людишек-то тоже небось миллиарды? А разница-то между ними только, что у одного зуб со свистом, а у другого — на носу шишка? При чем тут Пушкин?

Я стал собираться с духом, и полезли некоторые более складные аргументы.

— Знаешь, Юра, что я тебе скажу? — заговорил я по возможности рассудительным тоном. — Ты ошибаешься... Организм совершеннее механизма... Ведь механизм — что такое? Это — как на счетах. Раз, два, и — все тут. А организм... совсем не то. Ведь вот сердце нельзя вынуть. Почему? Легкие нельзя вынуть, не убивши организма. Почему? А вот, золотко, потому, что в сердце, значит, весь организм сидит. В легких, значит, не часть организма, а весь организм сидит. Кабы здесь только

часть была, часть бы организма и погибла, а не весь организм. Значит, в сердце — весь организм, в легких — весь организм. Вынул сердце, и — весь организм насмарку.

Да сколько же у тебя организмов? — отвечал тот. — В сердце (организм, в легких — организм. А в голове небось тоже организм? А в желудке тоже небось весь организм?

— А вот то-то и оно, — настаивал я. — Организм — один, а везде сидит, весь целиком. Это тебе не гайка какая-нибудь, не винтик, который взял, да отвернул, да другим заменил. Тут, брат, не смей отвинчивать: вся машина погибнет.

— Ну и чего ж тут хорошего?

— А то хорошего, что все внутреннее здесь — вот оно, на ладони. Внутреннее, оно и есть тут все внешнее. Идея, форма, сущность, смысл, все это-хоть пальцем щупай. Вот оно, роднехонькое... Думаешь, внешнее. А оно тебе не тут-то было. Кабы внешнее, так взял бы, да и заменил. А вот, оказывается, вовсе не внешнее. Телесное, физическое, пальцами щупать можно, а-не внешнее. Сама сущность пальцем тычется, носом нюхается, глазом видится. Ну куда ж твой механизм?

— А я тебе скажу вот что, — продолжал Юрка. — Пусть так. Это неважно. А вот ты что скажи. Волянка жизнь или не волянка? Сплошное мямление, барахтание, переминание с ноги на ногу, косноязычие и бесконечный ряд запинок, задержек, ссылок на постепенность или это сила, могущество, идея, свет и обладание?

— Ну что ж такого? Жизнь меняется, вот и все.

— Да не меняется жизнь, а просто она слабоумие. Ну, если ученик не скажет сразу, что пятью пять двадцать пять, а начнет думать, тереть себе лоб, потеть, чесать в затылке, требовать органичности и постепенности, косноязычно молотить всякий дряблый вздор и, наконец, после целого часа усилий, догадок, воспоминаний, даст тебе ответ «двадцать четыре», то что ты скажешь о таком ученике? Или он просто глуп и невежа, или, если он учился, то это — слабоумие. Ведь так? А почему же ты жизнь не называешь слабоумием, если она создает миллион мошек и людишек и только после этого миллиона вдруг случайно захлестнет, и — появляется Пушкин, с тем чтобы потом опять прошли десятилетия и столетия миллионов и миллиардов мошек-людишек, все это бездарное марево — черт знает чего, какой-то бесконечной рыбьей икры, которая тут же и гибнет, не успевши как следует на свет-то появиться?

— Да, конечно, — отвечал я. — Это — другая сторона вопроса...

— Это не другая сторона вопроса, — перебил меня Юрка, — а это и есть только одно, что тут важно. Слепота — вот настоящее имя для твоей жизни. Слепота — вот что такое организм. А механизм — это ясная мысль, прекрасная, простая, красивая и, главное, честная мысль, без ужимок, без кривляния, без буффонады, без грима и маскировки, без очковтирательства, без истерики и трагедии, без хлестаковщины и без хамства, без...

— Да постой ты, фонтан красноречия, — перебил на этот раз уже я своего собеседника. — Ты рисуешь картину органической жизни так, как будто бы она сознательно кого-то обманывала. Ведь ты пойми: если она кого и обманывает, то ведь только себя самое. Все эти твои запинки и моратории, все эти волянки и

очковтирательство, ведь это же все жизнь устраивает только самой же себе. Кому еще? А тогда это не обман. Это просто действительность такая...

Я тут чуть был не сказал «естество такое», подобно своему старому учителю биологии Ивану Петровичу. И тут же сам понял, что говорю чушь.

— Вот именно, вот именно, — подтвердил мою мысль Юрка. — Вот именно, жизнь сама себя губит. А я тебе прямо скажу: жизнь — это и есть смерть. Сама же себя порождает, сама же себя и пожирает. Ни одно мгновение она не есть только жизнь. Каждое мгновение она есть и смерть... В твоём организме каждое мгновение нарастает, наплывает, порождается новое, небывалое, молодое, сильное. Но в то же самое мгновение оно и уплывает, убывает, умирает, гибнет. Каждое мгновение организм впитывает в себя среду, где он живет, перерабатывает ее в себя, ассимилирует себе, превращает в себя. Но и в каждое мгновение он выталкивает из себя переработанные материалы, убивает, умерщвляет себя, гибнет ежесекундно. Только вот что-нибудь наступило в жизни, и-в тот же момент уходит, смывается, улепетывает. И все эти точки так плывут, что ни за одну схватиться нельзя. В конце концов даже не поймешь, чего больше в организме, жизни или смерти. Ну после этого чего же ты тут хорошего нашел? После этого, разве жизнь не есть хаос и неразбериха, разве она не есть вечная и смутная суматоха, разве она не есть истерика самого бытия, разве она не слабоумие, разве она не хлестаковщина, не...?

Мне пришлось опять перебить приятеля. Но мысль его меня поразила. «Жизнь есть смерть», — думал я, задумчиво постукивая вилкой о тарелку. Но где-то в тайниках души, где-то на затылке копошилась другая мысль: «А ведь смерть есть жизнь...» Но я решил не сдаваться и сказал:

— Юрка! Пусть твои точки плывут. Но ведь организм сам есть целое?

— Да какая же это целость, скажи на милость, — возопил тот, — если тут сплошные потемки? Ведь жизнь — это вечные сумерки смысла. В жизни никто никогда ничего не знает. Что знает один орган о другом? Ровно ничего не знает! Вот возьми общественную жизнь. Что это? Тысячи людей вокруг тебя. Каждый свою линию гнет. Что ты знаешь о других? Ничего не знаешь! Знаешь о каких-то двух-трех десятках человек, которые лично тебе известны и с тобой имеют дело в данный момент. А остальных полутора миллиардов живущих на земле ты же ведь ни черта не знаешь. Ну там какие-то обычаи, законы, нравы... Что-то как будто общее и тебе известное. А ведь, по сути дела, и в этом ты ровно ничего реально не знаешь. А почему? А потому, что ты член общества, то есть потому, что общество — организм и ты — его какой-то маленький орган. Раз организм, значит-крышка! Значит, слепота и слабоумие. Вот если бы общество было механизмом, а ты колесиком в нем, это бы совсем другое дело. А при теперешних условиях — только слепотой и пробавляйся. Суть жизни — в слепоте, в слабоумии, в том, что ничего дальше собственного носа не видно. Если бы было видно, значит, был бы уже твердый закон происходящего. Значит, уже была бы необходимость. А это значит, что не было бы случайности, не было бы слепоты, глупости, вздорных обещаний, биения в грудь, истерики, не было бы канители и непрерывных сомнений, неразличимой волюнки, — словом, не было бы жизни, а был

бы прекрасный, тонкий, глубокий, честный, благородный, простой и мудрый механизм!
Тут во мне блеснула одна мысль.

— Юрка, негодяй, — застонал я. — Да ты знаешь, что ты проповедуешь? Ты проповедуешь судьбу. Жизнь, по-твоему, это — судьба или предполагает судьбу. Раз все в жизни есть слепота, то откуда же и куда идет жизнь? Какой смысл в этих твоих вольтках и ужимках, во всех этих придириках, канители, хлестаковщине? Ведь смысла-то нет! Весь мир, вся вселенная есть жизнь. А ведь больше-то ничего нет! А если ничего нет, — значит, жизнь-то есть судьба! Или ты мне давай такой же универсальный разум, такой же мировой и вселенский, как универсальна сама жизнь, или это — судьба! Жизнь и судьба — одно и то же! Сплошность, непрерывность жизни, ее самослитость и неразличимость, абсолютное и никогда не разъединимое тождество всего ее внутреннего и внешнего, когда внутреннее — телесно и осязаемо, а внешнее есть сам смысл и идея, — ведь это же все возможно только, когда есть судьба! Юрка! Вот до чего ты договорился! Ты только пойми. Все есть жизнь, и ничего, кроме жизни, нет. Но сама жизнь — слепота. Так что же получается? Значит, слепота всем управляет? Значит, если есть жизнь, то не с кого и совершенно нечего спрашивать о смысле! Раз в основе всего жизнь, значит, в основе всего судьба! Кто только живет, и больше ничего, тот самым своим бытием судьбу проповедует. Упиваться жизнью, значит, судьбой упиваться, судьбе служить, судьбу любить, значит, судьбе поклоняться!

— Ну и что ж, — незаинтересованно отвечал Юрка. — А твое благодущие лучше? Пусть уж лучше будет судьба! А кроме того, у меня еще механизм.

— «Механизм», «механизм», — запальчиво передразнивал я. — Пустые это слова, вот что. Ведь твой механизм кто-то должен за ручку крутить!

Юрка не сразу меня понял.

— Ведь механизм-то небось мастера для себя требует, механика? — злился я. — Ведь механизм потому-то и механизм, что он внутри пустой, мертвый. Как же он будет двигаться? Ведь часы-то надо завести! Ведь паровую машину надо затопить! Механизм, милый мой, это — поповщина! Дураков обманываете! Если мир — механизм, — значит, есть боженька, который этот механизм за ручку крутит. Потому-то и действует ваш механизм.

Юрка промолчал.

Я продолжал:

— А судьбы я тоже не хочу! Слышишь, Юрий, судьбы я тоже не хочу!

— Да что тебе судьба далась, — не без смущенья говорил Юрка. — Можно и без судьбы...

— Нет, нельзя без судьбы, — запальчиво напирал я. — Тебе нельзя без судьбы. С твоей концепцией жизни нельзя без судьбы. Механизм — ерунда. Ну пусть вот это механизм. Значит, его за ручку крутит вон то. Ну пусть и вон то тоже механизм, — тогда его за ручку крутит еще нечто третье. И т. д., и т. д. Одно из двух: или у тебя получится бесконечный ряд механизмов, движущих один другим, и последнего механизма так-таки и не будет, ибо если бы он был, то он либо уже сам от себя начинал движение и, следовательно, уже не был бы механизмом, либо от него надо был бы идти

еще в бесконечность других механизмов (что бессмысленно); или надо уже с самого начала не сводить бытие на механизм, а признать, что оно движет себя само же, то есть является живым, то есть что оно уже не механизм, а организм. Значит, от организма и жизни ты все равно не отвертишься. Или признай, что ни черта не можешь объяснить с механизмом, или признай, что все есть — по крайней мере в основе — организм и жизнь.

— Да это-то я давно признал, — сказал я ему. — Не ты должен защищать мне организм, а я должен его защищать против твоего упоения механизмом.

— Я тоже организм не отрицаю, — отвечал Юрка. — Я только считаю его слабоумием.

— А я считаю, что твое понимание организма и жизни требует судьбы, предполагает судьбу. А я этого не хочу.

— А что ж такое «судьба»? Судьба будет почестнее и подбросовестнее всякого позитивиста, который врет, что все в природе объяснил и все в природе покорил, а, смотришь, прыщик вскочил на носу у эдакого позитивиста, и — запнулся. Даже кометы никакой не надо, без мирового пожара дохнет. А еще «объяснил», «покорил» природу. Ха-ха!

— Не хочу я твоей судьбы, — напирал я, чувствуя у себя в душе какое-то право на это. — Я без судьбы обойдусь.

— И подохнешь?

— Да, подохну. Но меня нельзя победить.

— Покорил природу? Человек — царь природы? Законы-де природы открыл?

— Без законов! Нельзя меня победить! Жизнь не может меня погубить! Я сильнее жизни! Слышишь, Юрка, я сильнее жизни! Я понял жизнь. Вот ты же меня сам сейчас и научил. Нельзя меня победить! Я не умру. Слышишь, Юрка? Я не умру! Мое дело не умрет. Идея моя не умрет!

Юрка ничего не понимал в той великой идее, которая пришла мне в голову во время разговора с ним, пришла по поводу его безотрадного изображения жизни. Да эта идея и мне самому в тот момент была неясна. Но я уже чуял ее могущество. Я чувствовал, как от нее крепились мускулы моего тела, как шире и свободнее дышала грудь и как хотелось чего-то трудного-трудного, большого-большого, великого-великого, как хотелось работать, действовать, стремиться и как переставала быть страшной и сама смерть.

— Ничего не понимаю, — недоумевал приятель. — Что это вдруг за прыть? Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу этим сказать, что ты прав в своем изображении жизни, но что твое изображение жизни есть преклонение перед судьбой, а я не боюсь судьбы.

— Ну и не бойся. А чего же ты орешь?

— Я ору потому, что жизнь есть и судьба есть, а я не боюсь ни жизни, ни судьбы!

— Не понимаю, зачем тебе судьба. Ты, такой активный человек, и вдруг — какая-то судьба! Судьба — это, значит, бездействие, покой, пассивность, инерция.

Меня взорвало.

— Ага, вот она где твоя философия! — уже буквально кричал я. — Вот она где, твоя философия! Либо я действую, тогда мне на все наплевать. Либо нельзя на все наплевать, тогда конец моему действию, и я ложусь спать. Нет, брат, ты у меня живым не уйдешь сейчас из рук. Судьба-бездеятельность! А если судьба обрекает на деятельность? А? Не хочется? А если судьба тебя избрала героем, вождем, организатором, воителем? А? Попался? Если ты сам, по своей воле действуешь, то что же, значит, судьба не может заставить тебя по твоей же воле действовать? Судьба — бездеятельность! Эх, ты, жалкая азиатчина! А я вот тебе говорю: да, жизнь есть, и судьба есть, а я не боюсь ничего. Я свободен! Я по своей воле действую. Я по своей воле умру. Да, да! Слышишь ты? По своей воле умру. Умру не потому, что смерть пришла. А умру потому, что так хочу! И не самоубийство, а естественно так. И все-таки я этого хочу. Слышишь, Юрка? Жизнь есть смерть, сказал ты, и смерть есть жизнь. А я тебе скажу: жизнь есть судьба, и судьба есть жизнь. Свободная, вольная, радостная, веселая, бодрая, вечно юная жизнь моя — это и есть моя судьба! Я — кузнец своей свободы, я — повелитель моей судьбы. Я — судьба. Я — носитель судьбы. Судьба мыслит моей свободой. И я даже в смерти своей свободен, свободен от судьбы. Судьба сама освобождает меня от судьбы. Моя судьба — быть свободным от судьбы!

Юрка в этом ничего не понимал. Способный, талантливый малый, много читавший и думавший, много учившийся, не смог понять моей новой идеи, осенившей меня во время разговора с ним. Правда, и я тогда смог выразить ее только довольно косноязычно и темновато.

Так мы с ним и расстались, ни в чем не убедивши друг друга, потому что скоро подоспели наши поезда и разговор пришлось прекратить.

Но я вышел из-за этого стола обновленным, ободренным, утешенным. Новая идея преобразила меня. И Юрка был косвенно причиной этого. Правда, это не его идея. Это моя сокровенная идея, долго тлевшая во мне, незаметно для меня самого; и теперь, под влиянием Юркиных мыслей о жизни, она запылала во мне ярким пламенем, и я с трудом мог формулировать отдельные и бесчисленные мысли, восстававшие из этого горячего пламени.

II

Вот она, новая и простая идея: что именно живет? кто именно живет? Я убивался несправедливостью жизни, ее жестокой и беспросветной запутанностью, ее слепым и диким напором, сметающим все высокое и ценное. Но Юрка так ярко все это мне разрисовал, что я почувствовал тут настоящий тупик: если оставаться в самой жизни; если упиваться вопросами самой жизни и только жизни; если ничего не видеть сверх жизни, над жизнью; если не выйти за пределы непосредственно протекающей жизни, мы оказываемся во власти судьбы: темной, слепой, беспросветной, жесточайшей, бесчеловечной, звериной судьбы, самого настоящего, самого буквального Рока, перед которым никто не имеет права на самостоятельность и на который взглянуть-то невозможно, ибо немеют уста и холодеет тело.

Надо стать выше жизни; надо возвыситься над этой, как говорил Юрка, липкой, вязкой, тягучей, тестообразной стихией жизни; надо быть зрячим, а не слепым; надо действовать, а не быть объектом действия; надо строить жизнь, а не жить, чтобы жизнь тобою строила черт знает что.

Знание — вот та великая сфера, вот та великая сила, которая стоит выше самой жизни и в которой сама жизнь находит свой смысл и свое оправдание. Знание — вот чего не хватает голой жизни, обнаженному процессу рождений и смертей, бессмысленному потоку жизненных порывов, всей этой слепой стихии роста, питания и размножения. Знание — вот единственно, что противится судьбе и что способно ее преодолеть. Знание — благородно, возвышенно, спокойно, бестрепетно. Знание — это единственная область, где нет истерики жизни, невроза бытия, слабоумия животности. Знание — это бесстрашие, стойкость, героизм. Знание — это свобода. Кто знает мало, тот суетлив, пуглив, всего боится, от всего зависит. Кто знает мало зла, тот трепещет, страшится, ужасается, прячется. Но кто знает много зла, кто знает, что весь мир во зле, что вся жизнь есть катастрофа, тот спокоен, тому ничего не страшно, тот не хочет никуда прятаться, тот благороден.

Можно ли остановиться на жизни? Жизнь ведь, взятая сама по себе, — разве не путаница, разве не хаос, разве не отсутствие смысла? Чистый и беспримесный поток жизни — разве не издевательство над всем святым, разве не насилие над личностью, разве не сплошное коверканье естественно простых людских отношений, именуемых обществом? Зачем, почему, на каком основании, для каких целей я родился? Я не хочу жить. А я вот родился. Разве я виноват, что я родился? Жизнь — трудна, тягостна: ребенком человек слаб, глуп, ничтожен, гибнет без призора и помощи; стариком человек — то же самое: и слаб, и глуп, и ничтожен, и гибнет без призора и помощи; а ведь детство и старость отнимают у иного целую половину жизни! Что же остается? Остается молодость и зрелый возраст? Но вычтите болезни, сон, подготовку к жизни; вычтите все задержки, неудачи, ошибки; вычтите из этой зрелой жизни все нежизненное, все помехи и преграды к жизни, все провалы. И вот для этого-то ничтожного остатка подлинной жизни я и родился? Для этих-то минут счастья, свободы, ласки, для этих-то ничтожных мгновений, промелькнувших в жизни и захлестнутых ею, я и должен был целую жизнь есть, пить, спать, бороться за существование, находить средства для жизни, работать, изворачиваться, комбинировать, барахтаться? И выходит так, что я же и должен почему-то находить себе пищу и питье. Не я себя создал, не я придумал эту самую пищу и питье, — я-то сам, может быть, и вовсе не хочу жить, — так нет же: «Ага-а-а-а! — слышу всеобщее ликование жизни. — Ты родился? Ага-а-а-а! Ну так вот сам же теперь и борись за существование, сам же теперь и ищи себе еду и питье, сам же теперь и живи!» Позвольте, но я вовсе не участвовал в своем порождении. Как я могу отвечать за то, в чем я ни йоты не повинен? Почему я должен сам себе искать еду и питье, сам обогреться, сам бороться за свое существование, которое — в таком-то виде! — совершенно не входило в мои планы? Разве после этого жизнь — не обман, не цинизм, не вымогательство? Разве после этого жизнь — не насилие? Когда человек рождается

помимо своей воли, да еще — того и смотри рождается больным, уродом, идиотом, — разве это не насилие над ним? А когда он хочет есть и пить и ему нечего есть и пить, разве не насилие, разве не вымогательство заставляя его во что бы то ни стало разыскивать себе еду и питье? Да мне это, может быть, скучно! Мне это, может быть, противно! Бороться за свое существование, может быть, это, по-моему, глупо, пусто, бездарно, никому, и в том числе мне самому, не нужно, отвратительно! И, наконец, увенчание всей этой замечательной жизни — смерть — разве это не издевательство над человеком, разве это не вымогательство, не насилие? Все это есть слабоумие жизни. Но она все подстраивает так, что как будто бы я же и виноват во всем. Сделано так, что я же и хочу есть, я же и хочу пить, в то время как если бы я сам себя создавал, то, конечно, я бы уже принял все меры, чтобы этого безобразия не было, чтобы не винить человека в том и не обязывать его к тому, к чему он никакого отношения не имеет и не подстраивать дело так, что он же сам и должен вылезать из ямы: куда его насильно поместили и даже без его ведома.

Вот как и только так можно рассуждать о жизни, оставаясь в пределах самой жизни. Вот так и рассуждал мой Юрка, когда хотел объяснить мне, что такое жизнь. И судите сами: разве он не прав? Если есть только жизнь и больше ничего нет, но только так и можно рассуждать. А я к этому прибавлю, чтобы додумать весь вопрос до конца, что жизнь есть судьба. Да, да! Жизнь как именно жизнь, жизнь, взятая сама по себе, жизнь как таковая, это есть самая нелепая, самая бессмысленная, самая слабоумная судьба, когда нет никого, кто был бы виноват, и в то же время решительно все виноваты. Жизнь создает себя, и жизнь сама же пожирает себя. Каждый ее момент есть порождение нового и тут же пожирание этого нового. Непрерывно, сволочь, сама себя порождает и тут же сама себя пожирает. Так ежемгновенно порождаются и отмирают клетки в организме, и остается организм. Так непрерывно нарождаются и отмирают самые организмы, и — остается их род. Так порождаются и отмирают их роды, и — остаются семьи, племена. И т. д. и т. д. И так как нет ничего кроме и сверх жизни, так как нет никого и ничего выходящего за пределы жизни, то жизнь, со всем своим роскошным древом бесконечных и, допустим, часто весьма интересных и прихотливых организмов, оказывается просто бессмыслицей, и больше ничего, просто вымогательством и насилием, и больше ничего.

Долой, долой эту голую жизнь! Долой, прочь этот неутомный, самоуверенный, напористый, не знающий никаких пределов процесс жизни! Давайте знание, давайте то, что выше жизни и охватывает ее самое. Давайте смысл, давайте идею, давайте душу живую, ум живой! Давайте мыслить, рассуждать, расчленять, освещать! Долой потемки, отсутствие начал и концов, эту всемирную скуку самопорождения и самопожирания. Давайте науку! Давайте, наконец, человека! Жизнь, взятая в своем обнаженном процессе, нечеловечна, дочеловечна, бесчеловечна! Знания, понимания, мудрости — вот чего мы жаждем больше, чем бессмысленной животности!

Или жизнь — бессмыслица, или знание выше жизни и мудрость выше животных функций. Или жизнь — судьба, или жизнь — мудрость! Но так как жизнь неуничтожима и неискоренима, то и жизнь, и судьба, и мудрость — одно и то же. Мудр

тот, кто знает судьбу; а знает судьбу тот, кто знает жизнь; а знает жизнь тот, кто живет и мыслит.

* * *

Новые мысли, осенившие меня, не давали мне покою. Встреча с Юркой пробудила во мне ряд дремавших во мне идей, но все еще далек был от последней ясности. Со дна души поднималась масса вопросов, разрешить которые быстро было невозможно. Одно мне было ясно: Юрка был прав в своей оценке жизни, и он довольно точно вскрывал самое понятие жизни; но он давал слишком непосредственную картину жизни, он брал жизнь как таковую, жизнь как жизнь, жизнь в изоляции от прочей действительности, а действительность есть ведь не только жизнь. Этим и объясняется то, что, найдя в жизни бессмыслицу (а бессмыслица будет в любой области, если ее брать как таковую, в отрыве от целостной жизни и действительности), он бросился — в поисках смысла — к другой крайности и стал восхвалять механизм, в то время как он должен был бы восхвалять не механизм, а знание и мудрость, которые были бы выше и организма и механизма и которые бы показывали их происхождение на одном и том же древе бытия.

Это было мне совершенно ясно. Путь шел несомненно от жизни и знания. В знании успокаивается жизнь. Знанием разрешается противоречие жизни. К появлению знания стремится жизнь. Тоска и алкание жизни есть порыв к знанию, влечение к мудрости. Жизненное смятение есть тоска по знанию, вопль о недостигнутой или загубленной мудрости; жизненная борьба, жизненное самопорождение и самопожирание есть тайная любовь к мысли, к знанию, скрытая эротика мудрости. Жизнь хочет породить из себя мудрость. Вот-вот из нее должно выбиться великое знание, и-не рождается, не рождается. А не рождается потому, что знание есть разрешение противоречия жизни, и мудрость есть ставшая жизнь, внутренне пронизанная смыслом жизнь. Пока же становится жизнь, то есть пока жизнь есть только жизнь, а не есть ставшее, все ее силы и весь ее смысл уходит здесь пока еще на это самополагание и самоуничтожение; тут еще нет сил остановиться и, остановившись, обозреть пройденный путь. А ведь только обозревши пройденный путь жизни, можно говорить о мудрости жизни. Итак, жизнь не есть мудрость, но она есть назревание мудрости, она есть восхождение к знанию, она вот-вот родит из себя великий смысл, но она не рождает и не рождает... Жизнь заряжена смыслом, она — вечная возможность мудрости, она — заряд, задаток, корень и семя мудрости, но не есть еще сама мудрость. Надо выйти из жизни, чтобы разрешить ее противоречие; надо, чтобы для тебя, в известном смысле, остановилась жизнь, чтобы она перестала ослеплять тебя своей жгучей непосредственностью; и только тогда она становится смыслом, знанием и мудростью.

Это-то стало мне теперь ясно. И тут для меня теперь никаких вопросов не возникало.

Но вот какой вопрос следовал за этим: а что же такое это знание по существу? Ведь до сих пор мне ясно только то, что знание есть разрешение противоречия жизни, т. е. выход из ее тупика. Но вот — что же такое это знание? Что такое это знание по его

содержанию, по его существу? Что дает эта мудрость, из чего она состоит, как ее получить, как ею овладеть, отличается ли она чем-нибудь от нашего обыкновенного знания из учебников?

Вот глубокий и бездонно глубокий вопрос, который теперь меня занимал. Мне уже были не страшны теперь ни Мишки с их мучительством животных, ни римские императоры с их кровожадной и сладострастной жестокостью. Я чувствовал, что это перестало быть для меня жупелом, и это уже не страшило, не беспокоило меня. Так было надо — вот чему учило меня мое новое знание; и только редкими минутами появлялся в памяти проклятый Мишка с неприкрытой наготой своей «жизненности». Все это сглаживалось, утрясалось, успокаивалось. Я чувствовал в себе какую-то новую силу, некую внутреннюю мощь и тайное знание. Но я не знал, в чем заключается эта сила и мощь, и не мог подобрать подходящих слов для выражения этого хотя бы для себя самого.

Пожалуй, яснее прочего было то, что знание, к которому я пришел, не было знанием научным или исключительно научным.

Что такое знание научное? Это есть знание законов природы и общества. Зная закон, мы можем предсказать явление. Если у нас есть картина мира или какой-нибудь области его на данный день, то, обладая законом этой области, мы можем сказать, какая картина его будет завтра. То ли это знание, к которому я пришел преодолевая противоречие жизни? Нет! Почему?

Знание законов природы не есть жизненное знание. Это — царство рассудка, а не жизни. Законы природы требуют, чтобы все было неизменно, чтобы завтра было так же, как и сегодня. А жизнь требует изменения. Жизнь неповторима. Вся жизнь и все стечение жизни в том и заключается, что ее нельзя повторить. В некоторых очень узких пределах ее можно сократить или продлить, но ее нельзя произвольно создать или повторить. Юркины вопросы как раз и относились к этой стороне жизни. Если бы в жизни господствовали такие законы, она была бы не жизнью, но механизмом. Жизнь же исторична, а не механична. Поэтому если уже говорить о законах жизни, то вовсе не в смысле законов природы, вовсе не в смысле математических вычислений завтрашней картины мира на основании картины сегодняшней. Многим очень хотелось бы иметь такие формулы и законы, и многие (даже из незаурядных мыслителей) хотели бы таким простейшим и яснейшим путем преодолеть загадку жизни. Но это — фикция и фантом. Это иллюзия — думать свести законы жизни на законы природы и знание жизни сводить на знание каких-то законов. Тогда получилось бы, что завтрашний день вытекал бы из сегодняшнего с механической необходимостью, тогда в жизни не было бы ничего творческого, нового, неожиданного, революционного; тогда было бы все известно и предопределено наперед; тогда жизнь превратилась бы в механизм, то есть жизнь кончилась бы, и водворилась бы вечная смерть. На самом же деле жизнь есть, и жизнь есть нечто органическое и историческое, то есть в ней не только рассудочная необходимость, но и синтез необходимости и случайности.

Я родился в такой-то день и час. Почему? По законам природы. Но ведь я же мог родиться и днем раньше или позже. И если бы это случилось, это случилось бы,

конечно, только по законам природы. Я умру такого-то года, числа и в такой-то час. Почему? По законам природы. Но если я умру на год раньше или позже, то будет ли это по законам природы? Несомненно, это тоже будет по законам природы. Но в таком случае что же мне, собственно говоря, дают эти законы природы? Во время войны бомба попадает в жилой дом, и — одних она убивает, другие же спасаются. Но и погибающие погибли по законам природы, и спасшиеся спаслись тоже по законам природы. Что же тогда в этом деле объясняют законы природы?

Закон природы исходит из данного состояния мира. Вот, допустим, положение планет солнечной системы в такой-то момент таково-то. Исходя из этой картины солнечной системы, можно вычислить картину ее для другого момента. Но спрашивается: почему картина данного момента солнечной системы именно такова? Пусть наши формулы и законы дают возможность точно вывести завтрашнее положение светила из сегодняшнего. Но сегодняшнее-то почему именно такое, а не другое? Это, конечно, зависит от вчерашнего положения. Но почему вчерашнее-то положение именно такое, а не иное? Получается, что нам или надо идти в бесконечность с нашим сведением одного положения на другое, то есть отказаться от объяснения, или признать, что этот закон природы не способен объяснить явление целиком, и объясняет только его связь с другими явлениями. Да еще неизвестно, почему именно тут такая связь, а не иная.

Таким образом, извольте признать без всякой дискуссии почему-то именно это, а не иное состояние мира для данного момента; а еще извольте признать без всякого прекословия почему-то именно эту связь моментов, а не иную; и еще извольте пасть ниц перед вечной неизменностью этой связи моментов — вот тогда закон природы, формулирующий связь этих разных моментов времени, объяснит вам появление того или иного момента из старого. Однако ясно, что это — слишком поверхностное объяснение.

Вода бывает жидкой на протяжении ста градусов по Цельсию. Это-вечный закон природы. Ну а если нет никакой воды, что тогда делается с вечностью этого закона? На луне же вот нет никакой воды. Ну а если нет такой температуры? Если нет «нормального» давления? Законы метеорологии вечны. Ну а на солнце они тоже вечны?

Да, наконец, самый-то закон не есть же некая демоническая сила, движущая данным, подпадающим под этот закон явлением. Что такое закон природы? Это только формула связей и отношений. Сам по себе взятый, он не есть какая-нибудь механическая или органическая сила и энергия, реально движущая вещами. Вещи движутся не благодаря законам, но законы реальны потому, что вещи движутся. Сначала дайте так или иначе движущиеся вещи, а потом я найду законы их движения. Ну, а если нет самих вещей и нет их движения? Тогда, очевидно, нет и законов. А если вещи есть и движение их есть, но вещи и движение их вдруг стало иным, не тем, что вчера? Очевидно, тогда ведь и сами законы этих вещей должны стать иными?

Механистическое естествознание есть проповедь судьбы, преклонение перед роком. Почему я должен признать данную картину мира как единственно приемлемую для характеристики данного момента времени? Молчи! Почему существуют такая, а не

иная связь событий? Молчи! Почему эти законы должны быть вечными? Молчи! Меня сводят только на свидетеля событий, совершающихся как-то, кем-то, где-то, для чего-то. Дают эту зуботычину — закон природы и все! Какую-то обглоданную кость дают, и замолчи! Не твое, дескать, дело, когда ты родился. Ты-де дурак, если спрашиваешь, когда и почему умрешь. Не научно, мол, рассуждаешь, если тебе законов природы мало. Невежа-де, обскурант, дескать. Интересоваться жизнью — ненаучно, некультурно. Но посудите же сами: я формулирую законы, но — чего? Того, что создается вовсе не законами, а только формулируется ими. Но чем же, чем же создается? Молчи! Так, позвольте же, господа ученые. Ведь это же проповедь судьбы. Механические законы природы не только не противоречат судьбе, но требуют, предполагают понятие судьбы. Только когда есть действительность, кем-то и чем-то движимая (а кем и чем, наука считает ненаучным знать), тогда только и есть ваши законы. Значит, позади механистических законов природы кроется судьба. Она-то и крутит за ручку ту машинку вселенную, которую вы формулируете в законах. А когда, почему, где и для чего крутит она эту ручку, наука не знает.

Ясно, что законы природы есть только отражение реально данной картины природы. А почему реальная картина природы именно такова, этого никакие законы не объясняют. Можно ли после этого считать знание законов природы знанием жизни?

Нет, знание законов природы, да и вообще научное знание не есть жизненное знание! Это не та мудрость, которая есть разрешение жизненного противоречия и которая бы соответствовала человеку целиком. Нет, эта отвлеченность только и соответствует отвлеченной стороне человека, его рассудку, и ничего не говорит о жизни, никакой человеческой жизни не соответствует.

Почему бомба разрушила мой дом и убила мою мать? Потому, что она падала по законам механики, с которыми ты можешь познакомиться в учебниках.

Почему мой школьный товарищ упал в раствор извести и потерял на всю жизнь зрение? Потому что раствор извести разрушает сетчатую оболочку глаза. Вот тебе химические формулы.

Почему в деревне один мужичонка, желая отомстить другому, поджег у него дом, а сгорела вся деревня? Потому что в это время был сильный ветер, возникший благодаря передвижению таких-то масс воздуха в таком-то направлении.

ТЬфу! Только одно и хочется сказать на это, или, вернее, только одно и хочется сделать в ответ на это, плюнуть: ТЬфу!!!

Науку надо знать. Наука — великое достижение. Без науки человек — зверь. Но мало одной отвлеченной науки! Мало одних мозгов! Есть еще сердце, легкие, желудок. Еще хочется дышать, еще надо есть и пить. Когда нападает разбойник — некогда мыслить и строить законы природы. Когда подыхаешь от болезни или от голода, одной наукой, без средств к существованию, не проживешь. Когда я мальчиком работал в качестве подмастерья у портного и этот портной меня нещадно и незаслуженно порол, то глупо было защищаться от этого наукой и знанием законов природы, хотя портной бил меня, несомненно, в полном согласии с законами природы; и кровавые полосы на моем теле от ремня возникали, несомненно, по всем правилам биологии и физиологии.

У фашистов бомбы летят по законам механики, и у нас летят по тем же самым законам природы. Жизнь есть химический процесс; и когда организм умирает, в нем происходят тоже химические процессы и по тем же самым общехимическим законам; и когда организм умер и уже разлагается, то в нем тоже происходят самые обыкновенные химические процессы, и не по каким-нибудь новым, а все по тем же самым общехимическим законам, что и рост, и жизнь, и умирание живого организма. После этого — можно ли, предварительно не зная, что такое жизнь, определять жизнь как физико-химическое явление? Если жизнь и смерть есть одновременно физико-химический процесс, можно ли на основании только общих физико-химических законов судить о том, где жизнь и где смерть?

Нет, мудрость жизни не есть знание законов природы. Мудры ли бывали и бывают люди, никогда не учившиеся никаким законам природы и не имеющие ровно никакого научного представления о том, что такое законы и что такое сама природа.

Человек есть личность, а законы природы безличны. Человек есть клетка в общественном организме, а законы природы рассудочные формулы.

— Когда на вас нападает разбойник, вы — что, наукой и законами природы будете заниматься или вы будете спасаться путем ли вступления в борьбу, путем ли бегства или еще как?

— Однако, — возражали мне, — чем лучше вы будете вооружены, тем вам легче будет бороться с разбойником. А чтобы быть хорошо вооруженным, надо знать законы природы. Как без механики вы сделаете револьвер?

— Но я вовсе и не говорю, что знание законов природы не нужно или бесполезно. Я только говорю, что это не есть высшая мудрость жизни.

— Хорошо. Но защищаться от разбойника надо?

— Надо.

— И револьвер пригодится?

— И револьвер пригодится.

— Но ведь для револьвера нужны инженеры и техники, то есть наука и знание законов природы?

— Да я вовсе не против этого. Я тогда и вас спрошу: а стрелять из револьвера надо? А прицеливаться — надо? Нажимать курок — надо? Не сам же револьвер будет вам стрелять. А знать, в кого стрелять, надо? А сообразить, когда, где и как, а главное, в кого именно стрелять, надо?

— Конечно, все это надо. Но револьвер сделан на основании научного знания законов природы.

— Да, револьвер сделан на основании знания законов природы. Но пока револьвер не употреблен, он не есть нечто социальное. Он, конечно, есть нечто социальное уже потому, что он продукт труда, продукт человеческого производства. Но как таковой, взятый вне всякого употребления, он еще не вошел в социальную жизнь. Только ставши в человеческих руках орудием для тех или иных, соответственных его назначению, целей, он выявил свою социальную значимость. А это уже не законы природы. Общественная жизнь и творчество, социальная жизнь и борьба — это не

мертвые и рассудочные законы природы. И знание жизни, ориентировка в ней, даже простое орудие стрельбы, не говоря о социальной жизни во всей ее ширине и глубине, уже не есть только мышление, уже не есть только знание законов природы! Это знание есть только теория. А где же практика? Необходима практика!

Да, практика необходима. Но какая практика? Мало и одной практики, если искать мудрость жизни.

* * *

Практика! Действие! Не познание, а действие, говорят. Не законы природы, но законы поведения! Мораль, нравственность, обязательства, долг, совесть — вот что иные подсовывали мне, когда я искал мудрость жизни.

Нет! Невозможно! И это тоже — плохо, односторонне, отвлеченно, немудро, нежизненно.

Я должен действовать. Спрашивается: для чего и для кого и до каких пор?

— Ты должен действовать всегда.

— Но почему?

— Человек (это действие).

— Не хочу!

— Чего ты не хочешь? Человеком не хочешь быть?

— Действовать не хочу!

— Но ты должен действовать.

— А я не хочу.

— Но тебя заставят.

— Заставят — значит будут действовать другие, а не я. Я же буду только инструментом.

— И это твой идеал?

— Это моя свобода.

— Чтобы тебя били нагайкой?

— Чтобы не соглашаться.

— На разумную работу, на активный труд, на свободное действие?

— Да.

— Некультурность!

— Да не хочу я. Понял?

— Ничего не хочу, ничего не желаю?

— Да!

— А жить ты тоже не хочешь?

— Это — мое дело.

— Нет, брат, не увиливай. Жить ты тоже не хочешь? Говори!

— Может быть, тоже не хочу.

— Нет, не «может быть», а ты говори прямо.

— Хочу или не хочу, а действовать ты меня не заставишь. Для кого? Для себя? Но ты сегодня есть, а завтра тебя нет. Для тебя? Также самое! Для будущих поколений? А мне какое дело до них, раз я умру?

— Жить не хочешь?

— Смотря как. Если вот так, как сейчас, то определенно не хочу.

— Да не так, как сейчас, а вообще.

— А что значит «вообще»?

— Ну жить, несмотря на все условия и обстоятельства жизни.

— «Несмотря» — не хочу. Хочу только — «смотря».

— Шкурник, дескать?

— Свободный, а не раб. Вот что «дескать».

— Но что же это за свобода, если ты ничего не хочешь делать, не хочешь действовать, не признаешь практику. Ну пользу-то какую-нибудь ты признаешь? Людям-то хочешь ты пользы или нет? Себе самому, наконец, хочешь ты пользы или нет?

— А ты знаешь, что такое польза?

— Всякий знает, что такое польза.

— А я вот не знаю.

— Врешь. Знаешь.

— Не знаю.

— Чего тебе надо, не знаешь?

— Не знаю.

— Что тебе есть и пить надо, не знаешь?

— Не знаю.

— А зачем же ты ешь и пьешь?

— А я почему знаю, зачем я ем и пью?

— Тебе же хочется есть и пить?

— Мало ли чего. Мне вот иногда по морде хочется дать. А ведь не даю же.

— По морде не даешь, а ведь хлеб-то кушаешь?

— Ну и что ж тут умильного?

— А то, что тебе это полезно и ты знаешь об этой пользе и согласно такому знанию и кушаешь.

— Вранье! Червяк ни черта не знает, а сосет воду всем телом.

— Значит, ему это полезно, а польза есть причина его действия.

— Вранье! Бабочка летит на огонь — это тоже ей полезно?

— Это ей приятно. Приятность, наслаждение, тоже может быть принципом действия, хотя, по-моему, это и дурной принцип.

— Сколько же у тебя принципов действия?

— Да дело вовсе не в количестве принципов действия, а дело в том, что вообще надо действовать.

— Вот этого-то «надо» ты и не доказал. Ты все время указываешь на слепые факты: ешь, мол, да пьешь или живешь-де, а не умираешь. Ну, что ж! Все это слепые факты. Так оно действительно есть. Но почему оно есть, почему оно так есть, а не иначе, и почему я должен именно так действовать, а не иначе, да и вообще почему я должен действовать, а не наплевать на все, — этого ты мне ничего не доказал.

— Да наплевать на все-это тоже есть действие!

— Я и не говорю, что я наплевал. Я только говорю, что никто не имеет никакого права заставить меня ни действовать, ни плевать.

— Да совесть-то у тебя есть или нет? Совесть-то разве не заставляет тебя действовать?

— Совесть у всех разная.

— Одна.

— Разная.

— Одна.

— Совесть, дружище, у всех разная. Потому-то драка и происходит. Оба дерутся, и оба по совести!

— А все-таки истина одна.

— А совесть тоже одна?

— Ну пусть совесть разная. Совесть может оказаться и незатемненной. Но истина-то уже, безусловно, одна.

— А кто знает истину?

— Да вот хоть ты знаешь истину, что надо спать, если фактически ложишься спать.

— Опять «фактически»! Да мало ли что происходит «фактически»! Фактически я тоже действую. А ведь весь вопрос в том, нужно ли действовать и ради чего, ради кого надо действовать и какой смысл действия.

Вот разговор, из которого ясно, во всяком случае, одно: действие, деятельность, практика, даже моральные поступки и нравственная воля еще не есть мудрость жизни, которая стала бы выше судьбы. Еще надо откуда-то брать принципы действия; еще надо знать как именно действовать, во имя чего действовать. Вот этого «во имя» и нет в самом волевом поступке. Кроме того, всякий волевой акт рано или поздно наталкивается на сопротивление. Наша деятельность часто прерывается, а в конце концов и просто кончается раз навсегда. И судьба водворяется во всей своей неумолимости, во всей неотвратимости. Смерть — критика всякого действия.

— Ты действуешь? Хе-хе! Пока жив! А если не живешь? Хе-хе!

Да. Судьба непреодолима моралью так же, как она непреодолима наукой. Мудрость жизни не захватывается внешней практикой человека так же, как она несводима и на отвлеченные законы природы.

Не этой мудрости жизни я ждал.

* * *

Особенно не по нутру была мне одна мудрость, которая, казалось бы, на первый взгляд по крайней мере, по своему содержанию ближе всего подводила к переживаемому мною, но еще не формулированному новому. Это мудрость красоты, поэзии, музыки, искусства вообще.

Одно время мне казалось, что здесь я уже нашел якорь спасения. В самом деле, разве не мудрость это — все наши писатели, поэты, композиторы? Разве не мудрость это — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский? Какую же еще мудрость

надо? Разве не нужно было всем этим писателям погрузиться глубоко-глубоко в содержание жизни и ее общих законов, разве не нужно было видеть тайные и притом глубочайшие основы жизни, чтобы создать все эти великие художественные образы?

Но и эта мудрость скоро обнаружила мне свою слабость. Я понял, что созерцание жизни, даже самое глубокое, никогда не способно заменить самой жизни. Я понял, что созерцание красоты, при видимой своей мудрости и глубине, слишком отдаляет нас от жизни, слишком изолирует нас, слишком делает нас бездеятельными. Я вовсе не стою на том, что мы обязательно и во что бы то ни стало должны бегать туда и сюда, непрерывно мыкаться и трепаться. Нет. Но созерцание красоты слишком изнеживает нас, слишком делает нежизненными, слишком балует нас. Созерцание красоты развращает нашу волю, расслабляет двигательные центры нашей души, усыпляет нашу энергию и погружает в сон, в какое-то чудное сновидение все наше внутреннее «я». После красоты и искусства мы просыпаемся к жизни, как после обильного пиршества, с большой головой, с глазами, как бы наполненными песком, с тяжестью в груди и сердце. В искусстве есть замечательный опиум, влекущий нас от жизненных задач и погружающий в прекрасные видения, за которыми следует, однако, тяжелое пробуждение, и толпой встают нерешенные и только временно и насильственно отстраненные вопросы жизни.

Нет... Не то! Не это есть подлинная и настоящая мудрость жизни.

Где же она? И как ее назвать?

III

В жизни, в морали, в красоте заложены семена мудрости жизни, но развиты в них односторонне. Прежде чем сказать, где мудрость, не нужно ли еще раз пересмотреть эти три области, но уже с новой точки зрения, с точки зрения их несамостоятельности и того частичного, что каждая из них вкладывает в мудрость жизни?

Наука есть знание общего. Знание единичного как только единичного, знание отдельного и случайного в его отдельности и случайности не есть знание. Это — слепое ощущение, слепое животное осязание — неизвестно кем и неизвестно чего. Все частное, отдельное, случайное, текучее становится чем-то только в условиях своего общего значения. Вот чем богата наука, и вот без чего нет мудрости. Общее — вот что освещает и осмысляет все частное, все частичное, все случайное, все уединенное и отъединенное. Общий закон, общий вывод или хотя бы какое-нибудь общее наблюдение — вот где знание и вот где начало преодоления смутного животного хаоса ощущений.

Но в том-то все и дело, что мудрость жизни не есть только знание. Она есть нечто общее, но она не есть только знание. В знании всегда есть какое-то противостояние познающего и познаваемого. Чтобы познать предмет, надо, прежде всего, не быть самим этим предметом. В дальнейшем, познавая, мы можем как угодно близко и внутренне с ним сливаться. Но чтобы было знание, надо сначала тому, кто познает, не быть тем самым, что он познает. Познание есть всегда разделение, отделение,

противоположение. Чтобы познать предмет, надо сравнить его с другими предметами; и для этого необходимо выйти за пределы этого предмета. Вращаясь только в пределах предмета, мы познаем только его детали, более или менее важные, но тем самым мы еще не познаем предмета как такового, предмета целиком. Итак, знание — разделение.

Но достаточно ли этого для мудрости жизни? Жизнь — разве есть она познавательное разделение? Жизнь разве есть только познание? Жизнь — разве только противопоставление?

Жизнь есть жизнь — вот чего не понимают многие рассуждавшие на эту тему. Само познание есть только результат жизни. Само знание вызвано потребностями жизни. Не мы познаем, но сама действительность в нас познает самое себя. В конце концов, не мы и живем, но живет в нас общая мировая жизнь. Мы — только всплески на общем море бытия, только струи единого и всемирного потока, только волны неизмеримого океана вселенной. Что такое наше познание? Это — лишь отдельные цветы, листики, стволики, отдельные травинки на невместимом лугу общемировой жизни; и все это уходит в почву, в темные недра, питается в корнях своих бесформенным, скрытым от взора, неясным и мглистым.

Прежде чем быть разделению, должно быть единство. Прежде чем быть мышлению, должно быть само бытие. Прежде чем быть знанию, должна быть жизнь и действительность. Знание — сначала жизненный акт, а уже потом мыслительный, ощутительный, вообще смысловой. Знание сначала выполняет жизненную, бытийную функцию, оно сначала есть струя самой жизни, продукт самой действительности; а уже потом оно есть разделение, различение и сопоставление. Знание есть знание общего; общее, жизнь, расчленяется в себе, и — продуктом-то этого расчленения и является знание.

Общее для знания — не внешне; оно не есть то, что в нем может быть и может не быть. Оно в нем всегда есть. И оно не только всегда и обязательно есть. Оно есть в нем наиболее интимное, наиболее желанное, самое вожденное. Жизнь как общее, как некая общая стихия есть самая сердцевина знания; она есть самая пуповина знания, его цель и смысл.

Люди, испорченные книгами, часто думают, что только вот это единичное и отдельное реально, что только вот эти изолированные чувственные вещи и есть настоящее. Такие вещи обычно называют реальными; их также называют конкретными. То, что можно пощупать или понюхать, это-де и есть реальное и конкретное.

Не такова жизнь. Жизнь всегда есть интимнейшее прикосновение как раз общего; это есть интимнейшее осуществление как раз не этого отдельного, частичного и раздробленного, но всегда — общего, всегда того, что очень далеко выходит за пределы каждой отдельной частности.

Возьмем элементарные формы жизни, возьмем жизнь биологическую и — еще конкретнее — жизнь пола. Весь животный мир (а частично и растительный) объят стихией пола. Везде в животном мире мужское стремится оплодотворить женское и женское стремится зачать и родить потомство. То безобразно, то прекрасно, то скрыто и загадочно, то явно и нахально, то умно, то глупо, то в виде непосредственного и

безотчетного инстинкта, то сознательно, намеренно, размеренно и планомерно — везде и всегда, от рождения и до смерти животный организм (а значит, и человеческий организм) пронизан этой неумолимой и деспотической страстью порождать, и эта страсть — глубочайшая, интимнейшая, вожделеннейшая, как бы ее ни расценивать, какие бы периоды подъема или упадка она ни проходила в организме и как бы ни наталкивалась она на то или иное сопротивление (физическое, моральное, социальное или иное). И что же? Это есть вожделение общего. Это есть страсть утверждать свой род, утверждать себя не в своей отдельности, но в своей общности с родом. Это есть осуществление родовых заданий. Это род утверждает себя в организме. Это не что иное, как именно утверждаемость себя общим в отдельной особи. Животное творит волю общего, но в то же время это есть и его интимнейшее и вожделеннейшее намерение. Человек весь опутан правилами морали и общественности, законами науки и права, обычаями, традициями и «здравым смыслом». Но пол всегда был и остается в нем — то, что наиболее обще в нем и что в то же время наиболее интимно в нем, то, что есть результат какой-то родовой, абсолютно наиндивидуальной и, казалось бы, безличной воли, и что в то же время есть и его абсолютно личная, жизненно-насущная, нестерпимо повелительная воля, чувство, влечение и мысль, его личность, его неизбывное и прямо-таки само о себе кричащее желание и страсть. Не индивидуум здесь живет, но род живет в индивидууме; и не индивидуум здесь противопоставляет себя роду и при таком противопоставлении входит с ним в общение, но самый индивидуум впервые появляется как функция и продукт рода, и род-то как раз и есть его подлинная и настоящая, его (пусть мы тут употребим излюбленные философские термины) подлинно реальная, подлинно конкретная и подлинно субстанциальная, подлинно жизненная жизнь.

Таково первое слово мудрости, желающей обнять жизнь и смерть, а не трусливо прятаться в отвлеченные «законы природы». Когда я мыслю и высказываю законы природы, сам я мертв, и — только работает во мне моя голова, мой мозг, работает только рассудок. Но когда человек стремится порождать, он уже не мертв, и дело тут не в рассудке. Самый глупый и нерассудительный, самый безголовый и бестолковый знает, что такое пол и как можно рождасть. И это — потому, что самая жизнь действует в нем, что это, наиболее общее и надындивидуальное, максимально внеличное и безличное, и есть его личность, его самая интимная и насущная личность и жизнь. Наука и законы природы говорят об общем. Но — как они говорят! Они именно только говорят — и говорят о чем-то. А жизнь не говорит, но живет, и если о чем говорит, то только о самой же себе. И, вернее, тут совсем нет никакого «о», никакого «относительно»; нет никакого сравнения и соотношения, а есть только она сама, единая и нераздельная жизнь, утверждающая сама себя в индивидуумах и составляющая их насущное и интимное достояние.

* * *

Каждый человек принадлежит роду. Каждый человек стремится обособиться, но для этого стремления есть предел, как есть предел вообще для обособления от естественной жизни. Можно механизировать жизнь, но механизм условлен и

существует только тогда, когда есть жизнь.

Можно не ходить, но пользоваться трамваями, метро, паровозами, велосипедами, автомобилями, самолетами. Но все же хотя бы и в трамвайный вагон надо войти естественным путем. Все же и самолетом должен кто-то управлять естественным, то есть непосредственно-трудовым путем. Жизнь не может быть механизирована вся без исключения. Наоборот, в жизни доступно механизации решительно все, но только — кроме самой жизни, кроме самой субстанции жизни. То же и в общественных организациях.

Можно максимально устранить из общества всякую непосредственность, всякое простое и естественное отношение людей, но это не может превратиться только в один механизм. Государство механизует и обезличивает многие процессы жизни, но не все. Покупая всякие входные билеты, получая те или иные дипломы или удостоверения, пользуясь паспортами и пропусками и т. д. и т. д., мы, конечно, делаем это только потому, что друг другу не верим, только потому, что всякий из нас может наврать о себе и наговорить о себе то, что к нему не относится. Этой опосредствованностью и формализмом приходится государству заменять простые и естественные, непосредственные и наивные, доверчивые отношения между людьми. В самом деле, куда было бы проще для современного государства не иметь, например, милиции или полиции. Но без этого, конечно, не могла бы проходить городская жизнь, да и деревенская держится только тем, что для всякого преступника или хулигана есть управа если не в данной деревне, то в каком-нибудь центре. И вот при всем том всякое формализирование человеческого общежития должно иметь свой предел. Человек все же остается человеком, как он ни опутан бесконечными внешними формами и принудительными обстоятельствами, вытекающими из самой природы человеческого общежития. Само человеческое общежитие, будучи естественным и непосредственным в своей основе, как бы оно ни формализовалось, всегда остается внутри себя именно таковым и тем самым сдерживает и ограничивает формализм и схематизацию человеческих отношений.

Род, родство, родственные отношения — вот что останется с человеком всегда, как бы ни уходил человек в отвлеченные, рассудочные взаимоотношения. Предъявляя контролеру свой проездной билет, я выступаю не как непосредственный человек, Иван Иванович Иванов, но лишь как пассажир вообще (а сколько во мне всего, кроме того, что я в данную минуту пассажир!); и контролер выступает здесь не как живая и непосредственная личность, но как безличное начало законности и порядка (а сколько же в нем всего другого кроме этого!). И все-таки, несмотря ни на что, и я и мой контролер остаемся живыми людьми и непосредственными личностями. Механизация и схематизация наших с ним отношений совершаются только на фоне живой жизни наших личностей; и в правильном государстве она не только не мешает живой жизни наших личностей, но должна помогать ей и облегчает ее.

Родовые, родственные отношения — это то, с чего начинается человеческое общежитие, это то, без чего оно не может начаться. Но разве существуют только одни родственные отношения как непосредственно живые? Исчерпывается этим

естественное человеческое социальное знание, или это и есть все?

Говорят, человек есть часть природы. Это — неправильно, потому что в человеке природа обязательно есть; а есть ли человек в природе, это — вопрос факта: в природе в то или иное время может и не быть человека. Чтобы было социальное, нужна природа. Но чтобы была природа, не обязательно социальное. Поэтому не человек есть часть природы, а природа есть часть человека. Потому и род, если его понимать природно, то есть чисто биологически, еще не есть весь человек. Это — момент в человеке, а не весь человек. Человек есть не только животный организм, но и социальное существо. Человек имеет не только физическое тело, но и личность. Человек не только вещь, но и дух, душа, личность, субъект, «я», сознание, самосознание. Куда деть человеку его собственное «я»? Это «я» нельзя уничтожить или растворить в процессах физико-химических или биологических. Это — элементарная социальная клетка великого социального организма, и одним биологическим родом тут всего не объяснишь.

Однако самое интересное — это то, что и для личности, для «я», для сознания, для субъекта тоже есть свой род и свои родственные отношения. Тут тоже есть свои простые и естественные отношения, вытекающие из факта совместного происхождения на одной и той же почве, из одних и тех же корней, на одном и том же родительском лоне. Подобно тому как физический организм до поры до времени есть одно неделимое целое с организмом, его порождающим, и все организмы вместе суть порождение одной и той же родной для них родовой стихии, точно так же и духовное «я» человека, точно так же и субъект его, его социальная личность порождается в той социальной атмосфере, которая ему родная; и точно так же до поры до времени этот социальный атом неотделим от порождающей его родительской стихии, питается ею и возрастает от нее, и только впоследствии он физически отделяется от нее, продолжая быть внутренне и интимно с нею одним целым.

Каким именем назовем эту великую и страшную, эту всемогущую и родную для человека стихию, когда он чувствует себя не просто в физическом родстве с нею, а именно, главным образом, в духовном и социальном родстве с нею, когда он знает для себя такое общее, которое, несмотря на свою общность, содержит в себе бесконечное богатство индивидуального, когда это общее максимально внутренне для него, когда оно есть он сам, в своей последней и интимной сущности? Это есть Родина.

Сколько связано с этим именем всякого недоброжелательства, даже злобы, хуления, ненависти в прошлом! Водворились презрительные клички «квасной патриотизм», «ура-патриотизм», «казенный оптимизм» и пр. Это культурно-социальное вырождение шло рука об руку с философским слабоумием, не видевшим здесь величайшей категории человеческого разума вообще. По адресу Родины стояла в воздухе та же самая матерщина, что и по адресу всякой матери в устах разложившейся и озлобленной шпаны. Но уже и сама матерщина имеет смысл только при уверенности в чистоте и святости материнства. Только исповедуя материнство как высочайшую святость и чистоту, можно употреблять матерщину, то есть мыслить осквернение матери. Что не чисто само по себе, того и нельзя осквернить. Оно уже-и без того

скверное. А осквернить можно только то, что чисто. Поэтому чем больше слышно матерщины, тем больше люди верят в святость и чистоту материнства. И чем больше в прошлом люди не признавали Родины, тем больше это говорило об их собственном разложении, о социальном самоубийстве.

Всем этим «передовым» людям, стыдившимся говорить о Родине, соответствовала и философия, тоже всегда стыдившаяся таких конкретных вещей и видевшая научность только в отвлечениях рассудка. Философы говорили об «общем» и стремились к «обобщениям». Но что это за «общее», что это за «обобщение»? Законы природы и общества, законы субъекта и объекта — вовсе не есть реально — жизненное общее. Это — головное, рассудочное общее. Великие мыслители Нового времени доходили до больших обобщений, но ни в «мышлении» и «протяжении» Декарта, ни в монадах Лейбница, ни в боге Спинозы, ни в трансцендентальной апперцепции Канта, ни в абсолютном «Я» Фихте, ни в Мировом духе Гегеля нет этого родного, этого родственного, этого отцовского и материнского начала, нет Родины. Это — холодные, абстрактные истуканы рассудочной мысли, головные построения, которые не волнуют человека, не будят в нем жизненных сил и страстей, не зовут на борьбу, на бой, на жертву. Это — головное общее, мыслительное общее; и это не то общее, откуда происходит реальный человек с своим человеческим телом и человеческой душой, откуда он родился, что есть его родительское лоно, что есть его Родина. Человек — чужой всему этому; и трансцендентальная апперцепция как темная, злобная и свирепая тюрьма духа гноит человека, губит человека, безжалостно и по-звериному гложет его и умерщвляет его — в одиночестве, в покинутости, в чудовищной изоляции ото всех, в застенке собственной субъективности.

Философы говорили не только об «общем». Философы говорили об «отношении субъекта к объекту», о «теории познания», даже о «происхождении человека». Но что же это за объект, что это за познание, что это за происхождение, если нет самого главного, нет отца и матери, от которых приходишь, если нет в познаваемом ничего тебе родного, если познание есть только ощущение или только мышление. Познание не есть отвлеченность. Познание не есть разрыв или раскол, не есть и объединение расколотого. Познание есть брак познающего с познаваемым. Познание есть любовь познающего к познаваемому, и любовь эта — взаимная. Познание есть рождение в истине, порождение познающего с познаваемым такого третьего, в чем уже нельзя различить познающего и познаваемого, порождение той истины, которая уже не сводится ни на познающего, ни на познаваемое, а есть их чудное потомство, поднимающее родителей на новую и никогда раньше не бывшую высоту. Для кого познаваемое — не родное, тот плохо познает или совсем не познает. Только любовь открывает очи и возвышает тайну познаваемого.

Родина есть общее, но не мыслительно, не логически только общее, а физически и социально общее. Родина есть не то общее, которое только формулировано в голове, занумеровано, проштемпелевано и зарегистрировано в науке. Родина есть то реальное общее, которое меня реально породило с моим человеческим телом и с моей человеческой душой. Это общее — потому родное мне, родственное мне. Здесь мой

отец и мать, не физически только, а для всего того, что во мне есть, и для личности моей отец и мать, и для социальности моей отец и мать, и для духовной жизни моей родители и воспитатели. Всякая философия, которая не питается учением о Родине, есть наивная и ненужная философия. Ее «обобщения» слишком узки и ничтожны; ее «познание» слишком нежизненно, ее «мир» и «бытие» — пустота и тюрьма, всезлое и испуганное исступление рассудка, безличное раскаяние живого духа на Голгофе собственного жалкого самообожествления.

* * *

В новом свете предстали мне ужасы жизни, которыми смущалась душа моя с детства. Нет никуда выхода из жизни, из ее кровавого и мутного сладострастия, если не осмыслить ее как жизнь моей Родины. Помните моего проклятого Мишку, с которым я дрался в детстве из-за собачонки? Этот Мишка — великая, неодолимая сила только для близорукого подхода, только для непосредственной оценки, когда действительно бессмысленная жестокость наполняет душу и заставляет драться за истину и правду. Мишка есть только одна ничтожная набежавшая волна на море жизни. Ужасы и кошмары жизни должны быть рассматриваемы и оцениваемы на фоне общей жизни. А общая жизнь есть наша Родина, есть то, что нас порождает и что нас принимает после смерти.

Не будем пока вспоминать о Мишке, хотя по смыслу речь наша только и пойдет о нем. Давайте говорить вообще.

Род порождает из себя индивидуума. Помимо рода нет индивидуума. Но индивидуум гибнет. Индивидуум снова возвращается на лоно жизни, его породившей. Значит, жизнь. Но так как в жизни ничего нет кроме этих индивидуумов, то порождает из себя индивидуум, и сама же жизнь и поглощает в себя индивидуум. Жизнь, стало быть, есть вечное самопорождение и вечное самопоглощение, вечное созидание и вечное пожирание созданного. Не бессмыслица ли это? Не есть ли этот круговорот вечное обесценивание жизнью самой себя, вечное формирование самой себя, вечное и недостойное кувырканье, циркачество, клоунада?

Да, именно так рассуждал один из моих старинных приятелей, разговор с которым я выше привел; и именно к такой бессмыслице всякий должен прийти, у которого жизнь есть только жизнь и который никуда не хочет выходить за пределы жизни. После многих лет размышлений я уже так не думал. И вот что у меня получилось.

Жизнь, общая родовая жизнь порождает индивидуум. Но это значит только то, что в индивидууме нет ровно ничего, что не существовало бы в жизни рода. Жизнь индивидуумов — это и есть жизнь рода. Нельзя представлять себе дело так, что жизнь всего рода — это одно, а жизнь моя собственная — это другое. Тут одна и та же, совершенно единая и единственная жизнь. В человеке нет ничего, что было бы выше его рода. В нем-то и воплощается его род. Воля рода — сам человек, и воля отдельного человека не отлична от воли его рода. Конечно, отдельный человек может стремиться всячески обособляться от общей жизни, но это может означать только то, что в данном случае приходит к распадению и разложению жизнь самого рода, разлагается

сама жизнь данного типа или в данное время, или в данном месте. Так или иначе, но всегда жизнь индивидуума есть не что иное, как жизнь самого рода; род — это и есть единственный фактор и агент, единственное начало, само себя утверждающее в различных индивидуумах.

Жизнь породила меня. Но ведь это значит, что сам я породил себя. Ибо кто такое я сам? «Я сам» — это есть ведь сама жизнь, которая себя утвердила в одном каком-то виде, то есть в виде меня. Никакого «меня самого» и нет помимо самой жизни. Не я живу, но жизнь живет во мне и, так сказать, живет мною. В то самое мгновение, когда меня порождает кто-то другой, в то же самое мгновение начинаю и я сам утверждать свое собственное бытие. Ребенок с момента первого зачатия в материнской утробе уже настолько же порождается другим началом, насколько порождает и сам себя. И это — один и единственный акт жизни — рождение меня кем-то другим и рождение меня мною же самим. В остальном и в дальнейшем моя жизнь идет не извне, вплоть до самой смерти. И живу я так, что это есть жизнь и моя и рода; и умираю я так, что это есть и результат жизни вообще и моей собственной. И умираю я, строго говоря, настолько же по своей воле, насколько и по воле общей жизни; и если мне не хочется умирать, то это значит, что жизни вообще не хочется умирать, что сам род, сама родовая жизнь не хочет во мне умирать. И если я все-таки умираю, то это значит только, что общая жизнь рода должна умереть, что смерть ей так же нужна, как и сама жизнь.

Но как назвать такую личную жизнь, такую жизнь индивидуума, когда человек рождается или умирает, растет или хиреет, здравствует или болеет, и все это есть только стихия общеродовой жизни, когда это есть правильное, нормальное и естественное состояние мира, при котором всякая индивидуальная воля осмыслена лишь как общая воля, когда все отдельное, изолированное, специфическое, личное, особенное утверждает себя только лишь на лоне целого, на лоне общей жизни, на лоне чего-то нужного, законного, нормального, сурового и неотвратимого, но своего, любимого, родного и родственного, на материнском лоне своей Родины?

Такая жизнь индивидуума есть жертва. Родина требует жертвы. Сама жизнь Родины — это и есть вечная жертва.

От самого понятия жертвы философы так же далеки, как и от понятия родины. Говорят о поведении, о действии, о моральных и неморальных поступках, наконец, даже о «любви к ближнему», но в философии не принято говорить о жертве, несмотря на то, что вся человеческая и животная жизнь есть сплошная жертва, вольная или невольная, и несмотря на то, что единственный способ осмыслить бесконечные человеческие страдания — это понять их жертвенный смысл.

Жертва везде там, где смысл перестает быть отвлеченностью и где идея хочет, наконец, перейти в действительность. Только головные измышления нежертвенны. Малейшее прикосновение к жизни уже приближает к нам жертвенную возможность: человек рождается с тем или иным пороком, физическим или психическим. Что это такое? Это или нечто бессмысленное, или жертва жизни. Человек происходит от преступных родителей, и мы часто привлекаем его к ответственности за грехи

родителей. Что это такое? Это или бессмыслица, или жертва. Да, наконец, самый факт рождения, или смерти, невольный для человека и часто отвергаемый и проклинаемый им, — что это такое, если это не сплошная бессмыслица? Это жертва. Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении; и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и Жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи».

В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это — просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственно только и осмысливает жизнь. Преступления, жестокость, насилия, человеконенавистничество, все это ополчается на нас и на нашу Родину, но все это только и можно, только и нужно одолеть ради благоденствия Родины. Возмутиться отдельным преступным актом и вступить с ним в борьбу — мало. Это и всякое животное вступает в борьбу за то, что считает принадлежащим себе. Нет, побороть противника не ради себя и не ради своей идеи, и даже не ради только ближнего, а ради самой Родины — вот где подлинное осмысление всякой человеческой борьбы против зла.

* * *

То, что рождает человека, и то, что поглощает его после его смерти, есть единственная опора и смысл его существования. Было время, когда этого человека не было; и будет время, когда его не станет. Он промелькнул в жизни, и часто даже слишком незаметно. В чем же смысл его жизни и смерти? Только в том общем, в чем он был каким-то переходным пунктом. Если бессмысленно и это общее, бессмысленна и вся жизнь человека. И если осмысленно оно, это общее, осмысленна и жизнь человека. Но общее не может не быть для нас осмысленно. Оно — наша Родина. Значит, жизнь и смерть наша — не пустая и бессмысленная, жалкая пустота и ничтожество, но — жертва. В жертве сразу дано и наше человеческое ничтожество и слабость, и наше человеческое достоинство и сила. Гибнет моя жизнь, но растет и крепнет общая жизнь, поднимается и утверждается человеческое спасение; и страдания, слезы и отчаяние в прошлом залегают как нерушимый фундамент для будущей радости, а бессмыслица и

тьма прожитой жизни отмирают и забываются как тяжелый и уже миновавший сон. Повторяю: или есть что-нибудь над нами родное, великое, светлое, общее для всех, интимно-интимно наше, внутреннейше наше, насущно и неизбежно наше, то есть Родина, или — жизнь наша бессмысленна, страдания наши неискупаемы, и рыданию человеческому не предстоит никакого конца.

— Да позвольте! Что вы называете Родиной? — спрашивал меня один инженер, с которым я разговорился на эти темы.

— А вот в том-то и дело, что сейчас я не хочу определять это понятие, — сказал я совершенно твердо.

— Но тогда, что же получается, — недоумевал тот. — Вы не хотите сказать нам, что такое Родина, а сами так неестественно ее превозносите!

— Вот потому-то я и не хочу определять этого понятия, чтобы не сузить его, не умалить его. Ведь всякое определение по необходимости выделяет в определяемом предмете только одну или только несколько сторон. А ведь во всяком предмете — бесконечное количество сторон. Это не значит, конечно, что определения не нужны. Но это значит, что всякое определение условно и не выражает существа предмета целиком.

— Но вы не указали даже некоторых сторон.

— Некоторые стороны указать легко. Но нельзя сводить на них весь предмет. А кроме того, я уже сказал, что не есть Родина. Она не есть только территория, она не есть только национальность, она не есть только социальная жизнь...

— Позвольте, позвольте, — перебил меня инженер. — Скажите сначала, что она есть, и потом будем говорить, что она не есть.

— Извольте. На первый случай и ради первого приближения для меня достаточно, что моя Родина есть бесклассовое общество. Достаточно вам этого?

— Совсем недостаточно. Во-первых, никакого бесклассового общества не было, когда вы родились. А потом, я думаю, вы и умрете еще до появления бесклассового общества.

— А вот это-то и нужно! — говорил я. — Блажен, кто видел и уверовал; но трижды блажен тот, кто не видел и все же уверовал.

— Это для меня слишком заумно.

— А любовь всегда заумна. Вы так говорите потому, что бесклассовое общество действительно не есть для вас нечто родное. Вы родились в век жесточайшей эксплуатации человека человеком, в век звериной борьбы за существование. Вы привыкли к этому с детства. Для вас это нормально и естественно. И вы не хотите знать, что возможны еще и иные отношения между людьми. Вы не хотите знать, что человеку гораздо естественнее не убивать, не мучить, не насильничать, что это-то и есть его самое естественное состояние, что это-то и есть его первозданная природа, что это-то и есть его вожденная Родина, его мать, его, наконец, бессознательное требование при всяком недобром событии в жизни.

— Это — философия!

— Это — не философия, а это то, ради чего мы страдаем и за что боремся. Кто вместе с нами страдает и борется, тот и составляет нашу Родину. Это и есть для нас

родное.

— Но согласитесь, что вы непомерно расширяете понятие Родины, — настаивал собеседник.

— А я вам уже сказал, что я вообще не хочу определять понятие Родины; и поэтому не даю ни слишком широкого, ни слишком узкого определения. Родина есть Родина. Я знаю, что это нечто большое, великое, всечеловеческое; я знаю, что это что-то прекрасное, желанное и возвышающее; я знаю, что, по крайней мере, бессознательно, если уж сознание-то не доросло, люди страдают и борются именно за это. Я знаю, что страдание, и борьба, и самая смерть для тех, кого это коснулось, только желанны, и они полны смысла, в то время как они совершенно бессмысленны для всяких отщепенцев и индивидуалов. И я мог бы еще очень много говорить о Родине. Я мог бы о ней еще бесконечно говорить. Но следует ли это делать? В одном этом слове уже даны все возможные и бесчисленные определения, все неисчерпаемое богатство возможных точек зрения и оттенков мысли. Если для вас это слово что-нибудь говорит, тогда об этом можно говорить бесконечно; если для вас одно это слово само по себе, без всяких разъяснений, еще ровно ничего не говорит, тогда сможешь ли делу логически, точными определениями? Тут не логика. Тут человеческая жизнь. Тут кровь человеческая.

Мой инженер хлопал ушами и думал, как это люди из мухи делают слона и как это я убиваюсь из-за таких пустика и занимаюсь безделием.

Нет, не с этими интеллигентшиками надо говорить о таких вещах. Не с этими сытыми, самодовольными, заевшимися людьми «науки», «техники», «искусства», «свободных профессий» надо обсуждать вопросы о Родине. Я продолжал рассуждать с собой наедине, пока не пришла война и пока я не стал получать подтверждения своим взглядам на каждом шагу.

* * *

Но эти разговоры показывали мне, что я еще сам для себя не все здесь продумал и что мои собственные давнишние искания и сомнения еще не нашли полного удовлетворения.

Еще два вопроса не было доведено у меня до последней ясности. Это Родина и любовь бескорыстная, и третий вопрос — Родина, жизнь и судьба.

Разного рода писаки, испорченные дурными книгами, неизученной наукой и обнаглевшей жизнью, учили нас о любви в бранных выражениях. Бескорыстная любовь всегда находила для себя осмеяние, презрение, издевательство у людей «науки», «культуры», «цивилизации». Какое это подлое вырожденство, какой духовный и социальный развал, какое ничтожество и слабоумие!

Да! Я буду говорить о любви бескорыстной и, прежде всего, о любви к своему родному, к тому, что создало меня и других, что примет меня после смерти, о любви к Родине. Любить только и можно бескорыстно. Да! Любить только и стоит идею. Любить только и нужно общее. Жалкое недомыслие — у тех, кто думает о какой-то иной любви. Самая животная, самая физическая, самая откровенно половая любовь вовсе не есть любовь только одного индивидуума к другому, только влечение одного

организма к другому. Уже самое обыкновенное животное половое влечение есть влечение к каким-то новым порождениям; это влечение — к таинственной дали бесконечных воспроизведений жизни; это страсть к созиданию, к творчеству, к воплощению на себе общего рода, к саморазмножению, к неустанному самоутверждению и самоповторению еще в ином и ином, еще по-разному и по-новому, еще богаче, шире, глубже, сильнее, чем то, что есть в настоящее время. Любовь только и живет этим общим, только и стремится к этой бесконечной перспективе утверждения себя во всем или по крайней мере в некотором. В любви человек хочет стать как бы богом, порождая из себя и изводя из себя целый мир и зная его изнутри, зная его еще до его создания. И это уже самая животная, самая физическая, самая плотская любовь. В этом смысле даже и она бескорыстна. При видимом эгоизме даже и она всегда готова на жертвы, даже и она никогда не боится трудов и лишений; даже и эта любовь полна безумства самоотдания и самопожертвования.

Но что же сказать о любви чистой и ясной, о любви идейной, о любви к Родине? Она бескорыстна, но это потому, что и всякая любовь бескорыстна (или она не есть любовь). Она готова на жертвы, но это потому, что нет любви без жертвы и подвига, нет любви без самоотверженности и самоотречения. Любовь к Родине тоже мечтает войти в некую общую жизнь, в жизнь родного и народного, и раствориться там, найдя себя в этом саморастворении. Любовь к Родине открывает глаза человеку на то, что не видно ему обычно, что не видно никому чужому и что вызывает насмешку у равнодушных и сытых. Но такова любовь вообще. Любящий всегда видит в любимом больше, чем нелюбящий; но прав — он, любящий, а не тот, равнодушный, ибо любовь есть познание.

Отвратительно видеть и наблюдать сытое равнодушие вокруг великого предмета; и умилительное, волнующее, восторгающее чувство, когда видим подвиг и самоотречение ради великого и любимого. Но даже и не нужно любимому быть великим. Любят люди не за что-нибудь. Любовь не сделка, не договор, не корыстный обмен вещами, не юриспруденция. Любящий любит не потому, что любимое — высоко, велико, огромно. Родители любят детей и дети любят родителей не за высшие добродетели, а потому, что они друг другу родные. Благородный гражданин любит свою Родину также не за то, что она везде и всегда, во всем и непременно велика, высока, богата, прекрасна и пр. Нет. Мы знаем весь тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все это — свое, неотъемлемое свое, родное; он с этим живет и с этим погибает; он и есть это самое, а это самое, родное, и есть он сам. Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, больного, много немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как родные себе. И миллионы жизней готовы отдаться за тебя, хотя бы ты была и в рубищах.

Раньше мы пришли к выводу, что нет осмысления жизни вообще, если нет осмысления того общего, чему служит жизнь, откуда она порождается и во что она погибает, ибо иначе-абсолютная бессмыслица и бессодержательное вечное повторение мимолетных жизней, и пустая, тоскливая, тупая смена сплошных рождений и смертей.

А теперь мы приходим к выводу, что нет осмысления и для каждой отдельной жизни, если она не водружена на лоне общего, если она не уходит корнями в это родное для нее общее, если не любит этого общего, то есть если она не жертвует себя для этого общего, не отрекается от себя ради вожделенной и сокровенной для всякого чужого взора Родины.

А отсюда и выход из того мучительного тупика, в котором пребывали мы, мучаясь загадкой судьбы. Разве не судьба, думали мы, то, что человек рождается и умирает? Разве не какая-то внешняя и страшная, а главное, безличная сила управляет человеческой жизнью, слепо терзая ее в разных направлениях и не давая человеку ровно никакого о себе знания? Да. Повторяем: если окунуться в жизнь с головой, если не видеть ничего, кроме непосредственной жизни, если не становиться выше жизни, то жизнь есть судьба, самая буквальная и настоящая, самая мрачная, бессмысленная, безжалостная, все-сокрушающая и неотвратимая судьба. Но все дело в том, что непосредственная жизнь не есть наша последняя действительность. Все дело в том, что сквозь неясные, мутные и едва различимые завесы жизни проступают строгие и вечные, но свои и родные лики родного и всеобщего. Сквозь трагедию сплошных рождений и смертей светится нечто родное и узорное, нечто детское, да и действительно детское, даже младенческое, то, ради чего стоит умирать и что осмысливает всякую смерть, которая иначе есть вопиющая бессмыслица.

Человек родился. Кто не видит дальше непосредственной жизни, тот обязан считать это действием судьбы. Но кто знает и любит то родное и всеобщее, что его породило, тот рад своему рождению, тот благодарит жизнь за свое рождение, тот считает свое рождение своим счастьем и своей волей, тот стремится выявить и выражает сознательно и вольно то, что ему жизнь дала до его сознания и без его воли.

Человек умирает. Тот, кто не видит ничего кроме жизни и кто ослеплен ее непосредственным явлением, тот переживает свою смерть как ужас, как трагедию, как бессмыслицу. Но тот, кто знает и любит то свое родное и всеобщее, которое его породило и теперь — со смертью — принимает его в свое лоно, тот считает свою смерть нужной и своевременной, тот рад жизненному труду, борьбе, страданиям и радостям, рад и тому, что так или иначе он выразил себя и выявил себя, так или иначе раскрыл, развернул свою природу, рад жизни и спокоен перед смертью, завершившей положенный ему судьбою удел. Воля жизни есть воля человека, стремление рода и Родины есть и стремление отдельного человека, данность извне есть интимнейшее самоутверждение самого же отдельного человека: разве при таких условиях остается еще какое-нибудь место для судьбы, разве это не есть победа над судьбой, над жизнью и даже над смертью, разве это не есть победа над трагедией общечеловеческой жизни? Судьба — там, где непонятное и сильное, необозримое и могущественное врывается по неизвестным причинам в понятное, сознательно построенное, любимое и вообще человечески обозримое. Но тот, для кого общие основы жизни суть родные, для того, кто знает и любит свою Родину, все ее жизненные акты есть его собственные жизненные акты и ее необозримая и могущественная воля есть и его собственное интимнейшее вожделение. Где же тут место судьбе? Это есть победа над судьбой и

презрение смерти.

— Вы умрете, и вы этому рады, — говорил мне тоже один интеллигентиска. — Но ведь если вы умрете, то все равно ваша жизнь бессмысленна, и все равно судьба властвует над вами.

— Нет! — отвечал я. — Я умру, но я останусь жить.

— Хе-хе! Бессмертие, дескать, души?

— Как хотите называйте. Вернее, бессмертие моего дела.

— Но ведь дело-то умрет?

— Нет, товарищ, не умрет. Именно не умрет.

— Дело ваше умрет, раз вас не будет.

— Физически меня не будет, а жизнь моя не умрет.

— Но ведь она же растворится в общечеловеческом деле, в общечеловеческой жизни, и никто этого даже и не заметит.

— Вы рассуждаете как эгоист, от всего уединившийся и ничего не любящий. Кто любит, тот не умрет.

— Ну, вы любите свое дело, но вы же, несомненно, умрете.

— Нет, кто любит свое родное, тот не умрет, тот будет вечно в нем жить и вместе с ним жить. И этой радости, этой великой радости достаточно для того, чтобы быть спокойным перед смертью и не убиваться над потерями в жизни. Кто любит, тот умирает спокойно. У кого есть Родина, тот, умирая если не за нее, то хотя бы-только в ней, на ней, умирает всегда уютно, как бы ребенок, засыпая в мягкой и теплой постельке, — хотя бы эта смерть была и в бою, хотя бы это и была смерть летчика, упавшего с километровой высоты на каменистую землю. Только Родина дает внутренний уют, ибо все родное — уютно, и только уют есть преодоление судьбы и смерти.

Я когда-то убивался и изнывал, наблюдая звериную жестокость и кровавые страдания в животной и человеческой жизни. Но теперь я спокоен. Кто видел мало зла, тот хлопочет, суетится, ерзает, ужасается и убивается. Но кто знает, что весь мир лежит во зле, тот спокоен, ибо самая эта суэта мира как лежащего во зле уже сама по себе предполагает, что мир не есть зло, что это его временное состояние, что существует истина и правда, превышая жизни, и что каждому велено природой отдать свою дань и злу и добру. Не волнуют меня сейчас римские императоры. Но это — только потому, что жизнь выше их кровавого сладострастия; и это потому, что есть превышая, общечеловеческая Родина, которая есть твердыня добра и истины и которая может велеть вступить мне в смертный бой и с римскими и со всякими иными императорами. А знать веления Родины, своевременно их воспринимать-дело величайшей человеческой мудрости. Главное, что есть опора против бессмыслицы жизни, есть твердыня, превышая судьбы и есть внутренняя и несокрушимая цитадель презрения к смерти, есть любовь и жертва, есть подвиг и счастье самоотречения, есть в самоотречении для других и для Родины самое сокровенное и уже действительно несокрушимое самоутверждение, самопорождение.

Пока наша жизнь мятется и страждет, пока наша жизнь неустроена, полна злобы

и насилия, пока мы умираем под пятой неведомой судьбы, — одно из двух: или жизнь, согласная с родным и всеобщим, с Родиной, и тогда она — самоотречение; или жизнь вне связи с родным и всеобщим, с Родиной, и тогда она — бессмыслица.

Необязательно, чтобы человек во что бы то ни стало умирал и жертвовал своей жизнью. Для этого должно быть особое веление Родины. Но и всякое страдание и труд на пользу Родины, и всякое лишение и тягость, переносимое во славу Родины, уже есть или иная жертва, или иное самоотречение, и осмысливается все это только в меру жертвенности.

IV

— Товарищи! Коварный враг напал на нас исподтишка. Коварный враг под маской дружбы готовил на нас нападение. Уже наши города и села страдают от бомб. Уже пролилась кровь невинных людей, мирно строивших свою жизнь. Встанем на защиту Родины, отбросим врага, укрепим наши границы, защитим наших родных и близких. Смерть врагу! А если нужна и наша жизнь, то отдадим за Родину и нашу жизнь и умрем в честном бою!

Такие слова услышал я 22 июня 1941 года на летучем митинге от парторга одного учебного заведения в Полтаве, где меня случайно застала война.

— Товарищи! Проклятая тевтонская орда ворвалась в наши пределы. Мы захвачены врасплох. Пока люди поймают бешеную собаку, сколько людей она перекусает и сколько еще причинит зла! Ловите бешеных собак! Товарищи, Родина призывает всех нас стать на защиту родной земли. Отложим наши житейские дела, теперь не до них. Еще вчера мы жили мирно и не ждали войны. Еще вчера так весело танцевала молодежь, так бодро шагали по городу старики, так дружно и беззаботно шла наша работа. Стар и млад теперь — на другую работу, на войну, против общего всем врага, на защиту оскорбленного отечества! Все для войны и фронта! Отечество наше в опасности! Теперь не время для личных дел. Отдадим все свои дела и себя самих на служение Родине... А если нам суждено погибнуть, то лучше смерть, чем рабство у врага!

Так говорил какой-то человек на митинге перед вокзалом в Харькове в июле 1941 года, когда я пробирался из Полтавы в Москву.

— Никуда отсюда не уйду! Хоть расстреливайте меня, никуда отсюда не уйду, — истерически вопила молодая женщина с двумя детьми, одним — грудным и другим — четырехлетним, беженка из-под Львова, которая с трудом ворвалась в вагон, где был и я, на какой-то мелкой станции между Харьковом и Москвой. Ее муж, военный, был взят в первые же часы войны, а сама она, бросив имущество и дом, с двумя детьми прошла полтора километра пешком, и потом попала с одного поезда на другой, пока не очутилась на линии Курск-Орел, где, после нескольких суток ожидания и всяких страданий, наконец втиснулась в переполненный московский поезд, чтобы добраться к родственникам под Москвой. Проводник вагона ее не пускал, так как никаких билетов на той станции никому не выдавалось. И вот она влезла силою и громко кричала и

причитала.

— Рубите меня на куски, не уйду отсюда! Я десять дней голодная с двумя детьми. Я больше не могу сидеть на этой станции! Пустите, отстаньте от меня. Не уйду. Убивайте, не уйду.

Ее стали успокаивать. В конце концов отстал и проводник. Ее усадили, дали поесть. Грудного положила она на скамью. Он был неподвижен, совершенно безмолвен и вполне мертвенного вида; и только иногда, очень редко слегка вздрагивал ручками и ножками. Четырехлетний стоял как скелет, желтого и синего цвета, рассеянно слушал крики и причитания матери и тупо смотрел в окно, находясь от него на большом расстоянии и только единственной его реакцией было, когда в окне вагона показались жужжащие самолеты, это — то, что он задрожал и тихо пролепетал матери:

— Бомбить будут?

— Это — наши, — сказала мать.

— А наши будут бомбить?

Тут все рассмеялись, и заулыбалась мать. Успокоившись, она рассказала свою историю, из которой мне многое запомнилось.

— Муж говорит: собирай детей и уходи, сейчас немец бомбить начнет. А я ему: куда я пойду? Я с тобой останусь. Бомбить, говорит, сейчас начнут, наступление идет, в плен, говорит, попадешь, убьют, замучат, говорит. А я ему: но ты же вот останешься! А он мне: да я же военный, мне — приказ. Ну, что ж, что военный, говорю ему. Жили вместе и умрем вместе. Иди, говорит, времени не упускай. А я ему: и мне с тобой умереть хочется. Да детей-то, говорит, тебе не жалко? А я ему: и дети с нами умрут. Ну, говорит, ты с ума сошла, с тобой разговаривать нечего. И ушел. А через полчаса, смотрю, грузовик подошел, и какой-то военный силком меня втащил на машину. Такой, говорит приказ. А мужа-то и нет как нет. Посадили нас втроем, и хоть бы до железной дороги довели-то. А то провезли пятьдесят километров и высадили. Куда хочешь, туда и иди. До железной дороги полтора верст пешком прошли. Несколько ночей в лесу ночевали не евши. Да после этого еще вот по железной дороге целую неделю мыкаемся.

Потом она совсем успокоилась. И заговорила так.

— Жили вместе, и умирать надо вместе. Нашел, когда жалеть! Сам-то сейчас в бою небось. Жив ли? А я тут чего мыкаюсь? Если бы все так вот пошли на немца, устрашился бы. А чего нас оттуда вывезли? Пошли бы мы все на врага, и — устрашился бы. Я ему говорю: Коля, и я с тобой умру. А он мне: дура, говорит, детей спасай, мне через полчаса выступать. А стояла-то наша часть у самой границы. Умру, говорю, с тобой. А он мне: дура, говорит, ты ничего не смыслишь, нельзя тут тебе быть. А я ему: жизнь свою хочу отдать, понял? А он мне: дура, говорит, езжай к отцу. А я ему: поп в церкви говорил, что никто же больше сея любви не имеет, да кто душу свою положит за други своя. А он мне: и поп твой такой же дурак; уходи, говорит, не смей оставаться. А я ему: что же, Коля, и жизни моей ты не хочешь! А он мне: жизнь для детей береги! А я ему: а дети-то мне на что, если немцу под сапог пойдем? А он мне: дура, говорит, дети вырастут, а ты их губишь; а я ему: все погибнем, а народ останется.

А он мне: а что тебе народ, коли сама подохнешь? А я ему: жизнь хочу отдать. А он мне: дура, говорит. Я ему: жизнь мою возьми. А он мне: дура, говорит...